

18+

Имя сему

Роман

Катерина Калиманова

Катерина Калиманова

Имя сему. Роман

«Издательские решения»

Калиманова К.

Имя сему. Роман / К. Калиманова — «Издательские решения»,

Сентябрь. Молодой психиатр приезжает в институт на Белом море — бывший монастырь, где прошлым летом утонул прежний главврач. В наследство ему достаются кабинет, архив и пациентка, которая восемнадцать лет молчит и говорит о себе в мужском роде. За полярную зиму он по чужим тетрадям и дневникам восстанавливает историю женщины и её брата: разлучённых в детстве, нашедшихся взрослыми, проживших вместе на Севере четыре месяца. Имя тому, что было между ними, дать нельзя — и нельзя не дать.

© Калиманова К.

© Издательские решения

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ЧАСТЬ I	8
ГЛАВА I	8
ГЛАВА II	12
ГЛАВА III	16
ГЛАВА IV	20
ГЛАВА V	26
ГЛАВА VI	32
ГЛАВА VII	35
ГЛАВА VIII	42
ЧАСТЬ II	48
ГЛАВА IX	48
ГЛАВА X	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Имя сему Роман

Катерина Калиманова

Слово было — и до Слова было то, что Словом не названо. Имя сему — Любовь, ибо иначе сего нельзя именовать, но и Любовью сие не именуется.

— схимонах Лонгин Берёзовый, «Толкование на Евангелие от Иоанна», ок. 1859, рукопись Иоанно-Богословского Усть-Кулойского монастыря

© Катерина Калиманова, 2026

ISBN 978-5-0070-3985-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я нашла эту рукопись в марте 2035 года, разбирая вещи Андрея Глебовича Карцева после его смерти. Он умер 8 января 2034-го. Где и как — это его частное дело. Мне он оставил четыре картонные коробки с бумагами, три внешних жёстких диска и короткую записку: «Решайте сами. Я не успел». Я познакомилась с ним там, весной 2026 года, когда приехала. Это всё, что нужно знать о том, кем он мне приходился. Остальное — наше и к рукописи отношения не имеет.

Я не стала разбирать коробки сразу. Они простояли в моей мастерской четырнадцать месяцев, у стены, за макетами. Я знала, что в них — не точно, но в общем. Я не была к этому готова и не уверена, что стала готова потом. Просто в марте я взяла отпуск и открыла первую коробку, потому что открыла.

Рукопись лежала сверху. Плотная серая папка, без надписи. Четыреста с лишним страниц машинописного текста, распечатанного на обычном принтере. Кое-где — пометки на полях, его почерком, всегда карандашом. Кое-где — вклейки: ксерокопии документов, фотографии, два картографических листа на кальке. Рукопись написана в 2027—2028 годах, в Москве, по материалам, собранным в Северо-западном научно-исследовательском институте психоневрологии, где Андрей Глебович работал врачом-психиатром по двухлетнему контракту. Институт расположен на побережье Белого моря, в бывшем Иоанно-Богословском Усть-Кулойском монастыре. Я была там дважды. Первый раз — весной 2026-го, когда приехала к матери. Второй раз — на её похороны.

Я читала рукопись три месяца. Не потому что она длинная. Три месяца я читала ту версию моей собственной жизни, в которой я была одной из героинь и в которой меня не было одновременно.

То, как Андрей описывает наши встречи в клинике, во многом мне чуждо. Я не помню, что чувствовала то, что он мне приписывает. Возможно, я этого не вспомнила. Возможно, он ошибается — он сам допускает это, в нескольких местах прямо. Возможно, в нас обоих говорило что-то, что не было нами, и потому каждый помнит по-своему. Это, кажется, единственное, в чём он точно прав.

В рукописи воспроизведены почти целиком дневники и рабочие заметки Бориса Аркадьевича Ветрова, бывшего директора института, умершего в апреле 2025 года. Андрей получил к ним доступ с разрешения архива. Я не знала Бориса Аркадьевича и не могу судить, верно ли Андрей его цитирует. Судя по тому, что цитаты иногда противоречат друг другу, — верно. Живые люди противоречат себе.

В рукописи собраны и другие документы: протоколы, справки, заключения, копия полицейского отчёта, несколько записок без подписи из личного архива Ветрова. Андрей не делал из них выводов. Он раскладывал их перед собой и описывал, что видит. Иногда ошибался и через несколько страниц исправлялся. Это делает его текст непоследовательным. Я думаю, это делает его текст честным.

Есть в рукописи и фрагменты тетрадей моей матери, Марты Адамовны Левиной. Она была пациенткой института с декабря 2008 года до дня своей смерти, 14 мая 2026-го. Оригиналы тетрадей хранятся у меня. Андрей обращался с ними аккуратнее, чем я ожидала, и всё-таки местами неточно. Он это знал. В нескольких местах он пишет: «Я не уверен в расшифровке». В нескольких других — не пишет, хотя стоило бы.

Кроме рукописи, у меня хранятся около четырёхсот листов с рисунками матери — побережье, которого нет ни на одной географической карте. Подписи на языке, который я не понимаю и который, по-видимому, не понимает никто из живых. Я не стала включать их в издание. Они не были написаны для чтения.

Мой отец появляется в рукописи в нескольких местах. Я его не знала — мне было неполных четыре, когда он погиб. Бабушка и дедушка рассказывали о нём мало и всегда одинаково. Из рукописи я узнала другое. Не лучшее и не худшее — другое. Я не буду это комментировать. Он мой отец. То, что о нём можно сказать, сказано в тексте.

Среди бумаг, переданных мне нотариусом после событий мая 2026 года, было письмо, адресованное моей матери. Письмо не было отправлено. Его нашли в гостиничном номере в Архангельске и передали мне в составе наследства от человека, которого я не знала при жизни. Я его прочла. Я не передам его дальше. Это была их частная переписка, опоздавшая на восемнадцать лет.

Я долго не знала, что делать с рукописью. Публикация казалась изменой — моей матери, моему отцу, в чём-то и мне самой. Непубликация казалась другой изменой: Андрею, который написал это, чтобы это было прочитано. Борису Аркадьевичу, чьи дневники он сохранил. Людям института, которые помнят мою мать и которых с каждым годом меньше.

Я не приняла окончательного решения. Я просто отдала рукопись в издательство, потому что отдала. Я думала об этом тридцать лет и пришла к тому, что думать тут не о чем — есть с чем жить; и я научилась жить, и это не то же самое, что понять. Держать чужое всю жизнь я не хочу. С меня хватит того, что держали до меня.

Я не исправила в ней ничего. Не убрала страниц о себе, хотя хотела. Не добавила примечаний. Это не мой текст. Я не хочу в нём жить и не хочу из него уходить, и не думаю, что у меня есть право на то или другое.

Если моя мать где-то ещё живёт, то скорее в этих страницах, чем в моих воспоминаниях. У меня их мало. Мне было три года, когда она уехала. Мне был двадцать один год, когда я увидела её в клинике. Мне был двадцать один, когда она умерла. Между этими тремя точками — моя мать, и я не могу соединить их в одного человека. Андрей пытался. Борис Аркадьевич пытался семнадцать лет. Ни у кого не вышло. Рукопись — свидетельство этой попытки, не её результат.

Если кто-то из читавших захочет узнать, что я думаю о моей матери, — у меня нет на это ответа. Если бы она была здесь, она бы тоже не ответила. Это всё, что я могу честно сказать.

Вера Левина
Петербург, сентябрь 2036

ЧАСТЬ I СЕВЕРНЫЙ СВЕТ

ГЛАВА I

Машину я нанял в Архангельске, у автовокзала, — серый «Патриот» с кузовом, обмотанным по порогам рыжей изолентой, и водителем, который не назвал своего имени, а может быть, назвал, но я не расслышал, потому что мотор работал на какой-то несообразно высокой ноте, будто внутри его что-то не закреплено или закреплено слишком давно. Мы выехали засветло. Я знал, что до института четырёста с лишним километров, что последний участок — грунтовый, что, по словам Стрельникова, в сентябре дорога ещё проходима, хотя «смотря какой сентябрь». Стрельников говорил это по телефону ровным голосом, в котором не было ни предостережения, ни приглашения, — он сообщал факт, как сообщают прогноз давления.

Первые двести километров были обыкновенны — двухполосное шоссе, посёлки, бензоколонки, лесовозы, запах солярки и нагретого асфальта, который к концу августа уже не нагрет по-настоящему, а помнит тепло по привычке. Потом, за Мезенью, асфальт кончился.

Не то чтобы его перестали класть — скорее он отступил, как отступает вода, и обнажил то, что было под ним всегда: серый плотный гравий, утрамбованный колёсами лесовозов до состояния, в котором он ещё был дорогой, но уже не хотел ею быть. Машина качнулась, водитель переключил передачу, и я почувствовал, как изменился звук — не стало гладкого гудения шин, а появился рассыпчатый хруст, который не прекращался и через час, и через два, пока не сделался единственным звуком, на фоне которого я перестал замечать и мотор, и собственное дыхание.

По сторонам стояли берёзы — мелкие, кривые, наклонённые в одну сторону, как будто кто-то долго дул на них слева и они привыкли. Между берёзами лежала вода. Не озёра, не лужи, а именно вода — без формы, без берегов, коричневая, ровная, занимавшая всё пространство между деревьями с той спокойной бесспорностью, с какой занимают его только вещи, которые были здесь раньше всего остального. Потом берёзы стали реже, потом ушли, и осталось болото — плоское, рыжее от осоки, с редкими соснами, стоявшими по одной, далеко друг от друга, ни к чему не прислонёнными.

Я не видел горизонта. Не потому, что его что-нибудь закрывало, — его просто не было, или он стоял так низко и так далеко, что совпал с цветом неба, которое к этому часу — половина седьмого, возможно, ближе к семи — перестало быть голубым и сделалось чем-то вроде олова, ещё светлого, но уже без источника света. Сентябрь на этой широте садится быстро. Я этого не знал. Я ехал из Москвы, где сентябрь — ещё лето, и не был готов к тому, что здесь он уже послесловие к лету, написанное коротко и без интонации.

Последние тридцать километров дорога шла вдоль реки, которую я не видел, но угадывал по тому, как слева от гравийки земля проседала, как мелкоколесье расступалось и в проёмах между ольшаником мелькало что-то ровное и тёмное, чего я не мог разглядеть из-за наступавших сумерек. Водитель сказал: «Кулой». Я не понял, имеет ли он в виду реку, посёлок или направление, и не стал спрашивать, потому что к этому моменту мы не разговаривали уже часа полтора и молчание сделалось достаточно устойчивым, чтобы его нарушение потребовало повода, которого у меня не было.

Гравийка сузилась. По обочинам появилась колея от тяжёлой техники, залитая водой, и машина пошла медленнее, покачиваясь, задевая днищем, и тогда водитель коротко выдыхал через нос, не ругаясь и не комментируя, как выдыхает человек, которому это не впервые.

Я увидел стену.

Она появилась не сразу и не вдруг — она проступала, как проступает снимок в растворе, если кто-нибудь ещё помнит, как это выглядит: сначала линия, потом массив, потом подробности. Дорога поворачивала, мелколесье расходилось, и в промежутке между последними соснами стояло что-то кирпичное, длинное, примерно в рост двухэтажного дома, с башней на углу — круглой, с конической кровлей, или, вернее, с тем, что от кровли осталось. Дальше — ещё одна башня, и между ними стена, по верхнему краю которой кое-где росла трава.

Ворота были чугунные, тяжёлые, с поперечной балкой, на которой в последнем свете я разобрал белый прямоугольник таблички, но не прочёл её. Каменный крест стоял правее ворот, вросший в землю, накрёпленный, с надписью на лицевой стороне, которая была стёрта до нечитаемости, — хотя, возможно, я просто не мог разобрать её в сумерках, и это была не стёртость, а темнота. Различие тогда показалось мне неважным.

За стеной и левее, в том углу, который я потом научусь называть северо-западным, стояла звонница — высокая, выше стены, с шатровым верхом и пустыми проёмами яруса, в которых не было ничего. Она стояла отдельно от всего, и в тот момент, в тех сумерках, на фоне оловянного неба, она была только контуром — тёмным, чётким, без единого огня.

Водитель остановил машину у ворот, вышел, обошёл кузов и вытащил мою сумку. Я расплатился. Он кивнул, сел, развернулся на пяточке перед воротами — широко, в два приёма, чиркнув фарами по стене, по траве на её верхнем краю, по круглому боку башни — и уехал.

Я остался стоять у ворот с сумкой в руке. Было тихо. Потом тихо не стало: ветер, которого я не замечал в машине, здесь был, и был давно, и был, по-видимому, всегда — ровный, несильный, с запахом, в котором я тогда не опознал ничего, а потом, через месяц, научился различать соль, торф и что-то ещё, чему так и не нашёл названия.

Ворота были открыты — не распахнуты, а отведены ровно настолько, чтобы пропустить одну машину, и удерживались кусками арматуры, вбитыми в землю с той основательностью, которая выдаёт не временную меру, а многолетнюю привычку. Водитель, за четыре часа не сказавший мне ни слова, кроме «Карцев?» при посадке в Архангельске, остановил машину перед правой створкой и не стал глушить двигатель. Я вышел.

Женщина стояла у ворот так, как стоят люди, ждущие не конкретного человека, а определённого часа: без нетерпения, без интереса к тому, кто именно приедет, — с тем выражением спокойной готовности, которое бывает у людей, привыкших встречать и провожать. Невысокая, седая полностью, в чёрном платке, завязанном низко, почти на бровях, и в тёмной куртке с застёжкой, которую она не застегнула, несмотря на ветер. Ей было, по-видимому, за шестьдесят, и у неё была прямая спина — не та выученная прямизна, которой учат в балетных школах, а та, которая бывает у женщин, всю жизнь носивших тяжёлое.

— Карцев, — сказала она. Не спросила. Констатировала.

Я сказал, что да, и протянул руку. Она посмотрела на мою руку, потом на меня, пожалала её коротко — ладонь у неё была жёсткая и сухая — и сказала:

— Параскева Петровна. Старшая сестра. Пойдёмте, покажу.

Руки её я запомнил раньше лица, раньше голоса, раньше имени, и потом долго не мог объяснить себе, что именно в них было такого, что они запомнились первыми. Небольшие руки, широкие в кости, с короткими ногтями и загрубевшей кожей на костяшках. Руки, которые много лет делали одну и ту же работу, и работа оставила на них свой почерк, но какая именно это была работа, по рукам определить было нельзя. Я пытался потом, в первые недели, когда искал для каждого встреченного здесь человека быструю категорию — привычка, от которой отучаешься медленнее, чем от любой другой. Для рук Параскевы Петровны категории не нашлось.

Она шла впереди, не оборачиваясь, и я шёл за ней по дорожке из битого кирпича, положенного в глину — местами ровно, местами со сдвигом, который она, не глядя, обходила, а я

спотыкался. Было ещё достаточно светло, чтобы разглядеть двор: слева — длинное двухэтажное здание из старого кирпича, с решётками на маленьких окнах и побелёнными наличниками, справа — что-то с куполами, тёмное, закрытое. Прямо — стена, и за ней ещё стена, и ещё что-то, чего я в сумерках не различал. Место было больше, чем я ожидал, и тише.

— Новый корпус вон, — сказала Параскева Петровна, не останавливаясь, и показала рукой вправо, за собор. — Квартира на втором. Ключ один, второй у Акима, он завхоз.

Она достала из кармана куртки ключ на проволочном кольце, без брелока, без номера, и протянула мне, не оборачиваясь, на ходу. Я взял.

— Бельё на месте. Горячая вода с шести до десяти. Столовая в братском, завтрак в семь тридцать, если опоздаете — чайник в ординаторской на первом. Стрельников Олег Павлович, исполняющий, будет завтра к девяти. Вопросы — к нему.

Она перечислила это тем тоном, каким перечисляют вещи, не требующие ответа, и я не стал отвечать. Мы дошли до двухэтажного здания из позднесоветского кирпича, окрашенного охрой, — единственного во всём дворе, которое не выглядело так, будто стояло здесь триста лет. Параскева Петровна остановилась у входа, повернулась ко мне и впервые посмотрела мне в лицо. Глаза у неё были светлые, неопределимого цвета.

— Ладом, — сказала она. — Утром разберётесь.

Повернулась и пошла обратно к воротам. Я стоял у двери с ключом в руке и чемоданом у ног и смотрел ей в спину, пока она не скрылась за углом собора. Шла она тем же ровным шагом, каким привела меня сюда, и ни разу не обернулась.

Квартира оказалась на втором этаже, в конце коридора, пахнущего линолеумом и чем-то ещё — не дезинфектантом, а чем-то старым и вьёвшимся, что я в первый вечер принял за запах сырой штукатурки, а через месяц перестал замечать. Две комнаты, кухня, совмещённый санузел. Мебель казённая: железная кровать с панцирной сеткой, письменный стол у окна, платяной шкаф, два стула. На столе стояла настольная лампа с зелёным стеклянным абажуром, слишком хорошая для этой комнаты, — я потом узнал, что её принёс Аким из кабинета Ветрова, когда стало ясно, что в квартиру заселится новый врач, и что лампа стояла у Ветрова двадцать лет. Бельё было сложено на кровати стопкой, аккуратно, со свежим запахом. Окно выходило на стену — кирпичную, четырёхметровую, — а за стеной, если встать и посмотреть правее, можно было увидеть тёмную полосу, которая была, по всей вероятности, рекой.

Я разложил вещи, не распаковывая чемодан до конца, включил лампу, выключил верхний свет, сел за стол. Стул скрипнул. В комнате было тепло — батарея под окном грела исправно, и это было первое, что здесь оказалось таким, каким я его ожидал. Я сидел за столом и смотрел в стену, точнее — в окно, за которым была стена, и думал о том, что завтра мне предстоит познакомиться с исполняющим обязанности главного врача учреждения, в котором я подписался работать два года, и что главный врач, с которым я должен был работать, утонул пять месяцев назад, и что контракт мой, строго говоря, был подписан с покойником.

Я не спал в ту ночь. Не от тревоги и не от перемены места, хотя и то и другое, возможно, играло свою роль, — а от звука, к которому я не был готов и который первые часы не мог опознать. Низкий, ровный, непрерывный гул, идущий откуда-то из-за стены и выше, — не механический и не человеческий, без ритма, без нарастания, без пауз, похожий на то, как если бы кто-то провёл смычком по самой толстой струне контрабаса и не отпускал. Гул менял тон — едва заметно, раз в несколько минут — и снова возвращался к прежнему. Я лежал и слушал. Под утро гул стих, и тогда стало слышно что-то другое: тишина, в которой он держался, была не тишиной отсутствия, а тишиной расстояния — когда много пустого воздуха между тобой и ближайшим другим звуком, и этот воздух сам по себе звучит.

Утром я спросил у Акима, который пришёл проверить батарею и задержался у двери на одно ла-домовское молчание, что это был за гул ночью.

— Звонница, — сказал он. — С норд-веста тянет, она и гудит. Привыкнете.

Я привык. Через две недели я засыпал под этот гул, а через месяц просыпался, когда его не было, — отсутствие звука будило надёжнее, чем его присутствие. Но в ту первую ночь я лежал и слушал, и ничего ещё не знал.

ГЛАВА II

Общее отделение располагалось в братских кельях — длинном каменном здании у южной стены, построенном, если верить табличке над входом, в 1690-м и надстроенном в пятидесятые до двух этажей кирпичом другого оттенка, более рыжим, так что шов между веками был виден отчётливо, примерно на уровне моего плеча. На первом этаже — мужские палаты, на втором — женские; сорок коек суммарно, по данным прошлогодней отчётности, хотя на момент моего прибытия занято было, по-видимому, тридцать четыре или тридцать пять. Я не пересчитывал.

Обход начинался в восемь. Я пришёл в семь сорок пять — оделся, проверил карманы: фонарик, блокнот, ручка, формуляр осмотра, бланки назначений, — и пошёл через двор, и двор был пустой, и воздух стоял так плотно и так тихо, как он стоит в сентябре на этой широте до того, как начнётся ветер, который потом не прекращается до мая. Было около четырёх градусов. Трава между камнями мощения побурела. Я заметил это и записал бы, если бы считал нужным, но я ещё не считал.

Дежурная медсестра — не Параскева Петровна, другая, чьё имя я в тот раз не запомнил и потом неоднократно путал, — передала мне журнал ночных записей и коротко, как передают хозяйственные сводки, доложила: ночь прошла без происшествий, второй пост — без замечаний, пациент палаты шесть жаловался на боль в правом подреберье, пациентка палаты двенадцать просила выключить лампу в коридоре. Я кивнул и открыл журнал. Почерки менялись каждые четыре часа. Записи были однообразны, сделаны грамотно, и по их лаконичности я мог судить, что смены в общем отделении проходят давно и привычно, без того нервного многословия, которое я видел в Сербского, когда ночная сестра записывала каждый стон.

Я начал с первого этажа. Палаты были по четыре-шесть коек, отделённые друг от друга стенами, которые явно не принадлежали к первоначальной кладке: тонкие, гипсовые, установленные, вероятно, при переоборудовании в пятьдесят пятом. Потолки первого этажа были каменные, с остатками крестовых сводов, и в одной из палат, третьей от входа, свод сохранился почти целиком — он шёл полукругом от стены к стене, метра два восемьдесят в верхней точке, и под ним стояли три казённые койки с одеялами цвета топлёного молока, которые, впрочем, были совершенно чистыми.

Запах был характерный и мне знакомый. Хлорка, разведённая в ведре, которое стояло в углу коридора. Немытый линолеум — нет, не линолеум; здесь полы были каменные, кое-где затёртые до мягкого блеска, и поверх камня лежала тряпка, уже высохшая. Чай из общего самовара, который грели на тумбочке у поста. Что-то из одежды — не грязь, не пот, а годами нажитый запах ткани, не успевающей просыхать до конца. Институциональный дух, если угодно. Я его знал и мог в нём работать.

Пациентов первого этажа я осмотрел за сорок минут. Стандартная схема: карта, формуляр, короткий опрос, пометка. Мужчина шестидесяти двух лет — резидуальная шизофрения, длительная ремиссия, назначения без изменений с 2019-го. Мужчина сорока семи — хронический галлюцинаторный синдром, стабилен, на нейролептиках; при осмотре спокоен, ориентирован. Следующий — органическое расстройство после черепно-мозговой, поступил в 2014-м, когнитивный дефицит выраженный, речь сохранена частично. Ещё один — тяжёлая эпилепсия с изменениями личности, припадков за ночь не было. Я записывал, и записи мои были точны, и в каждой из них я опознаю теперь, перечитывая через два года, тот тон, который в ординатуре считался образцовым: сжато, безоценочно, с ровной дистанцией. Так пишут о механизмах.

Второй этаж отличался от первого в мелочах, которые я мог бы не заметить, но заметил, потому что всё ещё был внимателен к пространству, — это прошло примерно к третьей неделе. Потолки здесь были обычные, гипсовые, без сводов. В коридоре висела доска объявлений с расписанием приёма пищи и правилами посещения, написанными от руки, чётким круглым

почерком. На подоконнике стоял горшок с геранью. В дальнем конце коридора было окно, и из него виднелась стена — та самая, по которой я ещё не ходил, — и за стеной лес, начинавшийся сразу, без перехода, без поля, без кустарника, просто стена и лес.

Женские палаты были тише. Я не уверен, что это слово точное, — в мужских тоже не было шумно, — но здесь тишина имела другой характер, обжитой, и в ней было что-то, к чему я не мог приложить термина. Пациентка с аффективным расстройством, депрессивный эпизод тяжёлый, в стационаре третий год. Пациентка с рекуррентным течением, на литии, стабильна. Пожилая женщина — деменция альдгей-меровского типа, поздняя стадия; она не реагировала на осмотр, и я записал это, и перешёл к следующей. Ещё одна — сенестопатии, тревожное расстройство, формально на добровольном основании; при опросе вежлива, жалуется на качество еды и отсутствие телефонной связи.

Я заканчивал обход к девяти, к девяти двадцати, возможно. Последняя палата второго этажа была дальней от лестницы, маленькой, на две койки, из которых занята была одна. Женщина лежала лицом к стене и не повернулась. В карте значилось: затяжная кататоноподобная симптоматика неутончённого ге-неза. Назначения — стандартная поддерживающая терапия. Я записал: status idem. Я не знал её имени — то есть знал, потому что прочёл в карте, но оно мне ничего не сказало, и я поставил номер палаты, и пошёл дальше.

Лестница на первый этаж была узкая, с каменными ступенями, стёртыми посередине. Перила — советские, железные, покрашенные в синий. Я спускался и считал пациентов: тридцать четыре осмотренных, все — назначения без изменений, или с минимальной коррекцией, или с пометкой к пересмотру в плановом порядке. Тридцать четыре формуляра. Тридцать четыре раза одни и те же графы: имя, номер карты, дата, жалобы, объективно, назначения, подпись. Я справился. Аппарат работал. Двор, в который я вышел, был всё так же тих, только теперь со стороны хозяйственных построек слышался мерный стук — кто-то колот дрова — и пахло дымом, и этот запах был не институциональный, а просто северный, и к нему я ещё не привык.

После обхода Параскева Петровна сказала, что и.о. главного ждёт меня у себя, и коротко — одним движением подбородка — указала направление, как будто я мог не знать, где кабинет главного врача, хотя я действительно не знал.

Стрельников Геннадий Павлович занимал кабинет в административном корпусе, на втором этаже, — не тот кабинет, где работал Ветров, а соседний, поменьше, с окном во двор. Это я понял позже, когда разобрался в расположении комнат: Стрельников не стал занимать ветровский, с видом на стену и башню, а остался в своём, заместительском. Я не знаю, было ли это деликатностью, или суеверием, или просто нежеланием переносить бумаги. Я никогда у него об этом не спросил.

Он поднялся мне навстречу, пожал руку, предложил сесть. Невысокий, полноватый, с аккуратно подстриженными усами и в рубашке, застёгнутой на верхнюю пуговицу, хотя галстука не было. На столе — три стопки папок, расположенные с той геометрической точностью, по которой сразу видно человека, нуждающегося в порядке.

Он говорил ровно, негромко, тщательно подбирая слова. Спросил, как устроился. Спросил, есть ли замечания по жилью. Спросил, ознакомился ли я с расписанием дежурств. В каждом вопросе чувствовалась форма — не столько казённая, сколько привычная: Стрельников разговаривал со мной так, как, по-видимому, разговаривал со всеми, — вежливо, без пробелов, без острых углов, с той обстоятельностью, которая исключает необходимость возвращаться к сказанному. Он упомянул финансирование (сокращено на четырнадцать процентов в текущем году), штатное расписание (неполное, три вакансии), проблемы с поставками медикаментов зимой. Я слушал и записывал. Он ни разу не произнёс имени Ветрова.

Когда я встал, он сказал: «Если будут вопросы по хозяйственной части — к Акиму Семёновичу. Он в курсе всего». Это было сказано тоном, в котором не было ни иронии, ни уступки, — просто констатация порядка вещей.

В коридоре первого этажа, у раздаточной, я столкнулся с Машей — Марией Никитичной, санитаркой, — хотя в тот момент я ещё не знал ни её имени, ни отчества. Она несла стопку чистого белья, прижимая её к груди обеими руками. Невысокая, светловолосая, лет двадцати четырёх или пяти, в форменном халате, который был ей немного велик. Я представился. Она кивнула, сказала: «Здравствуйте, Андрей Глебович», — очень тихо, так что я скорее прочитал по губам, чем услышал, — и прошла мимо. Не остановилась. Не посмотрела с любопытством. Просто несла бельё туда, куда его нужно было нести.

Акима Семёновича я нашёл в каморке возле котельной. Каморка была маленькая — стол, табурет, электрический чайник, на стене календарь с видом Соловков, вероятно прошлогодний, — но обжитая так, как бывают обжиты только помещения, в которых один и тот же человек сидит десятилетиями. Он был крупный, бородатый, спокойный. Борода — густая, с седой, не подстриженная, но и не запущенная, а такая, какая растёт сама, когда человеку не приходит в голову о ней думать. Рукопожатие его было коротким и очень крепким.

— Пойдём, покажу, — сказал он, и мы пошли.

Он показал мне котельную — угольную, с двумя старыми котлами, в которых что-то гудело с тем низким, ровным рокотом, какой бывает у механизмов, работающих давно и без аварий. Показал подвал с трубами, где протекала левая магистраль и где он заткнул её чем-то временным ещё в марте, и с тех пор, сказал он, «дёржит». Показал двор, дровяную поленницу, сарай с инструментом. Говорил мало. Когда говорил — окая, и фразы были короткими, без придаточных, будто каждое предложение обходилось двумя-тремя словами и считало остальные лишними.

— Вот конюшня, — сказал он у низкой каменной пристройки.

Внутри пахло сеном, навозом и чем-то ещё — тёплым, животным, успокаивающим. У стойла стоял человек, высокий и худой, в телогрейке и кирзовых сапогах, и чистил скребницей бок немолодого гнедого мерина. Аким сказал: «Прохор Ильич». Прохор повернулся, посмотрел на меня, кивнул и вернулся к лошади. Аким не стал ничего добавлять. Мы постояли секунд десять. Мерин переступил с ноги на ногу. Прохор провёл скребницей по крупу, и звук щетины о шерсть был единственным, что заполнило паузу.

На обратном пути Аким спросил:

— Надолго к нам?

— Контракт на два года, — сказал я.

Он кивнул. Не сказал ни «хорошо», ни «ладом», ни что-нибудь ещё. Просто кивнул. Этого, по-видимому, было достаточно — не как одобрение, а как принятие к сведению. Я понял, или мне показалось, что я понял, что всё, сказанное мной, было услышано и отложено, и что Аким Семёнович — из тех людей, которые составляют мнение не по словам и не по первому впечатлению, а по чему-то другому, чему я ещё не нашёл названия.

Когда он ушёл, я остался во дворе один. Было тихо, если не считать ветра, который не прекращался с ночи. Издалека, от северной стены, доносился глухой низкий звук — что-то гудело наверху, в каменной кладке или над ней, — и я подумал, что это, должно быть, та самая звонница, которую я слышал вчера ночью, но не был уверен.

Меня приняли. Вежливо. Корректно. И не до конца.

Обратно мы шли вдоль стены — Аким показывал, где зимой наматывает до карниза второго этажа и где в прошлом году просела кладка. Он шёл быстро, не оглядываясь, и я едва успевал за ним, одновременно записывая в блокнот номера участков, которые он называл, — «двенадцатый от угловой», «семнадцатый, тот, что над вентиляцией», — хотя никакой нумерации на стене не было, и я потом, вечером, не смог восстановить ни одного из этих адресов.

Ветер усилился к полудню. Он дул с северо-запада, ровно, без порывов, с тем постоянством, к которому я ещё не привык и которое первые недели принимал за тишину, — настолько оно было однородно. Сосны за стеной качались все одинаково, как одно растение. Где-то далеко, за рекой, по-видимому, шумела вода, но я не был уверен, что это не ветер в кронах.

У северо-западной башни Аким остановился. Не для меня — ему нужно было проверить дверь в основание звонницы, которая, как я понял из его бормотания, разбухала осенью и переставала закрываться. Он подёргал ручку, присел, посмотрел на нижний край. Кирпичная кладка башни была темнее, чем на остальных участках стены, — то ли от сырости, то ли от возраста; позже я узнал, что звонница старше большинства корпусов на тридцать лет.

Именно тогда я услышал этот звук. Он шёл откуда-то из верхней части постройки — не сверху, а изнутри, из пустых ярусов, в которых, насколько мне было известно, ничего не было: ни колоколов, ни перекрытий, ни людей. Низкий, ровный, с лёгкой вибрацией, которую я ощутил скорее грудной клеткой, чем ухом. Ни на что не похожий.

Аким выпрямился. Он не смотрел на меня. Он смотрел на дверь.

— Звонница плачет, — сказал он.

Сказал так, как говорят «надо бы крышу подлатать» или «к вечеру подморозит», — между двумя другими мыслями, не ожидая ответа. Может быть, не ожидая даже, что я услышу.

Я не спросил, что это значит. Не потому что не хотел, и не потому что посчитал вопрос неуместным. Я просто не успел. Аким уже шёл дальше, к хозяйственной пристройке у восточных ворот, и снова называл номера участков, которых не существовало ни на одной карте, кроме его собственной.

Звук продолжался ещё некоторое время — минуту, может быть, две. Потом ветер чуть изменил направление, и звук прекратился, и стало снова тихо обычной здешней тишиной, то есть — ветром, соснами, далёким скрипом чего-то деревянного.

Я записал в блокнот: «Зв-ца — звук при с-з ветре, проверить конструкцию». Запись аккуратная, предметная, совершенно бессмысленная. Проверять конструкцию я, разумеется, не стал ни тогда, ни потом.

ГЛАВА III

На девятый день — это был, по-видимому, четверг, потому что четверги были днями подачи заявок на лекарственное обеспечение, и я помню, что нёс папку к Стрельникову, — Параскева Петровна остановила меня в коридоре второго этажа Поморского.

Она шла навстречу. Я ещё не до конца привык к тому, как здесь ходили: по старым дубовым доскам невозможно было пройти неслышно, и каждый обитатель производил свой собственный набор скрипов, по которому его опознавали от дальнего конца коридора. Параскева ходила быстро, мелко, на полную стопу, и доски под ней почти не жаловались, — это при её росте и весе было непонятно, но так было. Я слышал её секунды за три до того, как она вышла из-за поворота у сестринской.

Она несла что-то в левой руке, прижимая к бедру, а правой придерживала ключи на поясе, чтобы не звенели. Подошла, остановилась на расстоянии чуть больше, чем обычное, — так останавливаются, когда собираются передать предмет, а не разговаривать.

— Андрей Глебович. Вот, это вам.

Конверт. Стандартный, почтовый, формата С5, коричневая крафтовая бумага. Не запечатан — клапан подогнут внутрь. На лицевой стороне, в верхнем левом углу, почерком, который я тогда ещё не мог узнать: «А. Г. Карцеву, лично». Без даты. Без обратного адреса. Ниже — ничего, только коричневая бумага и по всей поверхности мелкие, едва видные пятна, какие остаются от долгого лежания в сыром помещении.

Параскева не убирала руку, пока я не взял. Я взял. Конверт весил немного, граммов тридцать, в нём лежал один лист, может быть два. Бумага пахла — не конверт, а то, что было внутри, — чем-то, что я определил позже как запах архивной башни: камень, холодная пыль, чернильная кислотность. Тогда я этого запаха ещё не знал.

Я посмотрел на Параскеву. Она уже смотрела не на меня, а на папку у меня под мышкой, как бы оценивая, не мешает ли она мне идти к Стрельникову.

— От кого? — спросил я.

— От Бориса Аркадьевича, — сказала Параскева Петровна. — Он оставил. Для того, кто после.

Она сказала это ровно так, как передают хозяйственную информацию: в комнате поменяли лампочку, бойлер работает до одиннадцати, вот конверт. В её интонации не было ничего, что я мог бы прочитать, — ни торжественности, ни осторожности, ни нежелания отвечать на вопросы. Если бы я спросил ещё что-нибудь, она бы, вероятно, ответила. Я не спросил.

— Спасибо, — сказал я.

Параскева кивнула, обошла меня — коридор был широкий, но она всё равно обходила людей с запасом, привычка тридцати лет работы в учреждении, где лишнее сближение нежелательно, — и пошла дальше, к лестнице. Ключи на поясе звякнули один раз, когда она взялась за перила. Через четыре секунды — я считал шаги, сам не зная зачем — её не было слышно.

Я стоял в коридоре с конвертом в правой руке, с папкой заявок под левой, и некоторое время не двигался. В коридоре было пусто. В дальнем конце, за лестничной клеткой, кто-то из пациентов кашлял размеренно и глухо, как кашляют люди, которые кашляют давно. С улицы, через закрытое окно, доходил ровный гул: ветер шёл с северо-запада, и звонница отзывалась на него низким тоном, который через неделю я перестану замечать, а через месяц буду слышать, только когда он прекратится.

Я убрал конверт во внутренний карман куртки. Внутри карман подкладка была тёплая от тела, и я почувствовал, как бумага легла к груди — жёсткий прямоугольник, два сгиба, острые углы. Пошёл к Стрельникову, отдал заявки, выслушал его замечание о расходе галоперидола, вернулся к себе. Конверт пролежал в кармане ещё шесть часов. Я не открывал его до вечера.

Почему — я не знаю. По-видимому, в тот день мне казалось, что документ, пролежавший в сыром архиве пять месяцев и предназначенный человеку, которого отправитель не знал в лицо, может подождать ещё несколько часов. По-видимому, я ошибался, хотя вряд ли что-нибудь изменилось бы, прочитай я записку раньше. Изменилось бы, возможно, другое: шесть часов, в течение которых конверт лежал у меня в кармане, были последними часами, когда я мог ещё думать об этом назначении как о двухлетнем контракте, северном коэффициенте и возможности защитить диссертацию.

Квартира находилась на втором этаже нового корпуса, через стену от ординаторской, и была устроена так, как устраиваются все служебные квартиры при казённых учреждениях: две комнаты, кухня с газовой плитой семидесятых годов, совмещённый санузел, линолеум тёмно-коричневого цвета, вздувшийся у порога. Прежний жилец — по-видимому, ординатор, уехавший до меня, — оставил на подоконнике пустую банку из-под растворимого кофе и расписание архангельского автобуса, приклеенное скотчем к стене над выключателем. Я снял расписание на второй день. Банку не тронул, и она простояла там до апреля.

Конверт я положил на кухонный стол, не вскрывая, пока снимал куртку и ботинки, пока ставил чайник, пока доставал из холодильника хлеб и нарезку, купленную позавчера в посёлке и уже начинавшую подсыхать по краям. Это были привычные действия человека, который не торопится, и я их совершал именно потому, что торопился. Конверт лежал на столе. Белый, без марки, без обратного адреса. На лицевой стороне — ничего; на обороте, в верхнем левом углу, синей шариковой ручкой, почерком мелким и ровным, как у человека, привыкшего писать в разграфлённых карточках: «А. Г. Карцеву, л.» Буква «л.» означала, по всей вероятности, «лично». Бумага конверта была плотная, чуть пожелтевшая, того сорта, который в учреждениях уже давно не используют, — я подумал, что конверт мог лежать у Параскевы Петровны не один месяц.

Чайник закипел. Я сделал чай, сел и вскрыл конверт ножом.

Внутри был один лист. Половина стандартного листа формата А4, аккуратно разрезанная, не оторванная. Тем же почерком, той же ручкой, шесть строк:

Если останетесь, прочтите дело М. А. Целиком, с первого тома. В башне, в верхнем шкафу, две папки с пометкой «личное». Их нет в описи. Подумайте сами. Никому не доверяйте — ни администрации, ни родственникам, ни ей.

Б. В.

Подписи не было — только инициалы. Даты не было. Обращения не было. Ни «уважаемый», ни «коллега», ни имени.

Я выпил чай. Он остыл, пока я читал, хотя читать там было не больше двадцати секунд. Перечитал. Ещё раз. «Целиком, с первого тома» — это было понятно: дело М. А. Левиной, шесть архивных томов, я видел их в описи, когда принимал кабинет, и пока не открывал, потому что занимался общим отделением. «В башне, в верхнем шкафу» — я знал, что в юго-западной башне располагается архив; я туда ещё не поднимался. «Их нет в описи» — значит, папки неофициальные, личные бумаги Ветрова, которых, строго говоря, в институтском архиве быть не должно.

Всё это было ясно. Записка врача, оставленная преемнику: прочтите дело, разберитесь сами. Резковато, но допустимо. В Сербского я видел случаи, когда уходящий лечащий врач передавал дела с пометками, которые не предназначались для официального оборота, — субъективные наблюдения, гипотезы, иногда просто сомнения, которые неловко было фиксировать в протоколах. «Подумайте сами» — тоже понятно, в том смысле, в каком бывает понятно обращение старшего к младшему, когда старший не хочет навязывать интерпретацию. Я принял это как стилистическую черту — сухость, нежелание объяснять, — и не ошибся, хотя позже,

читая дневники, я обнаружил, что сухость Бориса Аркадьевича была не чертой, а оболочкой, под которой текло горячее и живое, и что «подумайте сами» было не приглашением к размышлению, а предупреждением о том, что ничьи чужие выводы — в том числе его собственные — не будут здесь достаточны.

Но две вещи в записке я не понял.

«Ни родственникам». Я прочёл это, и у меня не возникло никакой мысли, кроме недоумения, потому что в краткой справке, которую я просматривал при вступлении в должность, в графе «ближайшие родственники» стояло: нет. М. А. Левина, 1978 года рождения, поступила в 2008-м, содержится на основании судебного решения, ближайших родственников не имеет, опекун — государство. Справка была от 2009 года, обновлена в 2015-м, — в обоих случаях: нет. Ветров это знал лучше меня. Ветров вёл её семнадцать лет. Каким родственникам я не должен был доверять, если родственников не существовало?

Я подумал, что это, возможно, условная формулировка. Что Ветров имел в виду вообще всех посторонних и перечислил для убедительности. Что «родственники» — это часть тройки, ряд, а не конкретное указание. Я подумал так и отложил это. Мне понадобилось пять месяцев, чтобы вернуться к этому слову.

«Ни ей».

Это я перечитал трижды. Речь шла, по-видимому, о пациентке — о М. А. Левиной, — потому что о ней говорила вся записка и потому что местоимение не имело другого антецедента. Не доверяйте ей. Лечащий врач, проработавший с пациенткой семнадцать лет, написавший о ней, по всей видимости, сотни страниц клинических заметок и ещё какие-то личные бумаги, спрятанные от описи, — этот врач в последней своей записке, адресованной человеку, которого он никогда не видел и не мог видеть, потому что умер за год до моего назначения, — этот врач предупреждал: не доверяйте ей.

Я не знал, что с этим делать. У меня не было контекста. Я не читал дела, не видел пациентку, не поднимался в архив. Записка стояла отдельно от всего, что мне было известно, как первая фраза разговора, начатого не с того конца, — и только позже, значительно позже, я понял, что Борис Аркадьевич начал именно с того конца, с какого нужно, и что предупреждение стоило в начале, а не в конце, потому что в конце оно было бы бесполезно.

Я не убрал записку. Я положил её на стол, слева от чашки, расправил сгиб и оставил. Вымыл чашку, выключил свет на кухне, лёг в постель.

Комната была тёмная, и только под дверью шла полоска света от коридорного плафона, который горел круглосуточно, — старая больничная привычка, перешедшая в жилой корпус. За стеной не было слышно ничего. Ветер стих к вечеру, и звонница молчала. Где-то внизу, на первом этаже или, может быть, снаружи, хлопнула дверь, и потом опять стало тихо.

Я не спал. Не думал о записке — в том именно и состояла трудность, что думать было не о чем: слишком мало данных, слишком много неизвестных, а привычка к клиническому мышлению, которой я в ту пору доверял почти безоговорочно, требовала не спекуляций, а материала. Материала не было. Был конверт, половина листа, шесть строк и почерк человека, который утонул в июле прошлого года при невыясненных обстоятельствах, — Стрельников упомянул это вскользь в первый день, и я не переспросил, потому что тогда это было чужое несчастье, случившееся до меня и не касавшееся моей работы.

Я лежал и смотрел в потолок. Потолок был низкий, оштукатуренный, с трещиной от угла до середины, похожей на речное русло на мелкомасштабной карте. Где-то после часа ночи в соседней комнате или, может быть, на лестничной площадке зашуршало — крыса или ветка за окном, — и я понял, что не засну.

Записка лежала на кухонном столе. Я знал это так, как знаешь присутствие предмета, который не видишь и не трогаешь, но который уже занял своё место.

ГЛАВА IV

Параскева сказала: третий этаж юго-западной башни, ключ на связке тот, что с жёлтой биркой. Она не спросила, зачем, и это было, по-видимому, единственной формой разрешения, которую институт мог мне предоставить, — молчаливой. Стрельников на мой устный запрос ответил служебной запиской в два предложения: архив научного отдела доступен сотрудникам по основному месту работы в часы, согласованные с завхозом. Я не стал согласовывать с Акимом. Аким всё равно знал.

Лестница в башне — винтовая, каменная, с выщербленными ступенями, каждая чуть уже предыдущей, так что на третьем повороте плечо задевает стену. Стена сухая, не сырая — я ожидал сырости и ошибся; башня стоит на известняковом выступе, дренаж работает четвёртый век. Отопление — чугунный радиатор, подключённый, насколько я смог определить, к системе Поморского корпуса через трубу, проложенную в толще стены в 1960-х годах; труба, по-видимому, промерзала каждую зиму, потому что радиатор давал не тепло, а его воспоминание. В архиве было около шести-семи градусов. Я работал в куртке.

Помещение — бывшая ризница, потом библиотека, потом, после 1955-го, медицинский архив, — имело размеры приблизительно четыре на шесть метров, вытянутое вдоль внешней стены. Одно окно, арочное, с двойным переплётом, обращённое на юго-запад. Стекло было покрыто изморозью с внутренней стороны. Это был конец сентября. Потолок — крестовый свод, низкий, я мог коснуться замка рукой. У противоположной от окна стены — металлические стеллажи советского производства, зелёные, с инвентарными номерами, нанесёнными белой краской: от 041 до 078. Большая часть полок пустовала. Стол — один, канцелярский, с тремя ящиками, два из которых не открывались; я проверил позже, в одном оказался замок ключей без бирок, в другом — пустая коробка из-под папирос «Беломор» и огрызок карандаша. Стул — деревянный, с подлокотниками, устойчивый.

Дело М. А. Григорьевой занимало шесть архивных коробок стандартного формата, расположенных на двух нижних полках стеллажа 054. Коробки были пронумерованы от единицы до шестёрки, номера нанесены от руки, тем же почерком, которым была подписана записка Ветрова. Первая коробка — история болезни, тома I—III, 2008—2015. Вторая — тома IV—VI, 2015—2025. Третья — результаты обследований, лабораторных и инструментальных, подшитые хронологически. Четвёртая — переписка с инстанциями: прокуратура, Минздрав, страховая. Пятая — заключения внешних консультантов, семь штук за семнадцать лет, последнее датировано мартом 2024-го. Шестая — разное: копии удостоверений, справки, три фотографии.

Это был обычный массив. Я видел подобные дела в архиве Сербского, хотя редко такого объёма — шесть коробок на одного пациента означали либо чрезвычайно спорный диагноз, либо чрезвычайно длительное пребывание, либо и то и другое. Систематика была аккуратной, подшивка — последовательной, корешки папок не расползались. Кто-то поддерживал это дело в порядке. Не секретарь — секретарская подшивка выглядит иначе, механически. Здесь чувствовался отбор.

На верхней полке того же стеллажа, отдельно от коробок, лежали две картонные папки с завязками. На каждой — пометка, сделанная тем же почерком: «Личное Б. А.». Без номера, без инвентарной бирки, без штампа архива. Этих папок в описи быть не могло. Я знал это, потому что опись лежала в первой коробке, напечатанная на принтере, с датой последнего обновления: 14 мая 2025 года, за два месяца до смерти Ветрова. В описи значились шесть коробок. Папок в ней не было.

Я не открыл их в тот день. Это не было решением, и не было осторожностью, и не было, в той мере, в какой я способен реконструировать, чем-либо, кроме привычки: в Сербского нас

учили начинать с официального документа и двигаться по нему, прежде чем смотреть на всё остальное. Я начал с первой коробки.

Папки с пометкой «Личное Б. А.» остались на верхней полке. Они были перевязаны хлопковой тесьмой, каждая — в один узел. Тесьма на левой папке была белой; на правой — серой, возможно, от времени, возможно, изначально. Я не знаю, почему запомнил это. Запомнил.

На столе лежала тетрадь, обычная, в клетку, девяносто шесть листов, без надписи на обложке. Она не принадлежала ни к коробкам, ни к папкам. Она лежала на столе так, как лежит вещь, которую кто-то читал недавно и положил, не убрав. Я не тронул и её. Позже я узнал, что это был первый из дневников Ветрова — тот, который начинался с записи от 12 января 2009 года. Но в тот день, в конце сентября, стоя в архиве в куртке и перчатках, я видел только тетрадь, номера на коробках и иней на стекле.

Я сел за стол, открыл первую коробку и начал читать.

Первая коробка стояла ближе всех к окну и была подписана тем же аккуратным, мелким почерком, который я уже видел на ярлыках остальных: «Дело М. А. Левиной, т. 1, поступление». Картон плотный, серовато-зелёный, стандартный для медицинских архивов двухтысячных; углы потёрты, один надорван, тесёмки-завязки перетянуты в узел, а не в бант, — так перевязывают, когда не ждут, что кто-то скоро откроет. Я развязал узел, снял крышку.

Внутри — формуляры, сложенные в хронологическом порядке, лицевой стороной вверх. Одиннадцать. Верхний лист — протокол первичного осмотра, датированный 28 декабря 2008 года. Бланк учреждения: «Северо-западный НИИ психоневрологии РАМН, Мезенский район, Архангельская обл.», герб, регистрационный номер. Бумага на ощупь была суше и тоньше, чем у листов под ним, — семнадцать лет в нетопленном помещении. Я решил начать с начала — не с личных папок Ветрова, не с тетрадей, которые лежали в соседней коробке и которых я в тот день ещё остерегался, хотя, по-видимому, не отдавал себе в этом отчёта, — а с официального протокола, с того, что должно было быть наиболее надёжно датировано и наименее окрашено чьим-либо голосом.

Я ошибался в обоих предположениях, но узнал об этом не сразу.

Стул при столе был деревянный, с перекосом на правую ножку. Я сел, придвинул коробку, разложил формуляры стопкой слева от себя — порядок, в котором разбираешь любой случай, усвоенный в ординатуре настолько, что руки выполняют его без участия мысли: сперва протокол поступления, затем анамнез, затем назначения, затем эпикризы. Свет из окна был тусклый, октябрьский, и я включил настольную лампу — единственную в архиве, с латунной ногой и зелёным стеклянным абажуром, вероятно оставшуюся от Ветрова.

Протокол занимал два с половиной листа убогим машинописным текстом с рукописными вставками на полях. Верхнюю часть первого листа я воспроизвожу здесь по памяти и по моим тогдашним выпискам; позднее я перепроверил формулировки по оригиналу — они дословны, кроме домашнего адреса, который я заменяю.

Протокол поступления. Дата: 28.12.2008. Время: 14 ч. 40 мин.

Пациентка Левина Марта Адамовна, 19.03.1978 г. р. (30 полных лет). Доставлена бригадой СМП из ЦРБ Мезенского района, куда переведена из фельдшерского пункта пос. Кулой 22.12.2008. Направление Архангельского облздравотдела № 1247/08 от 24.12.2008.

Паспортные данные установлены по документам, предоставленным сотрудниками фельдшерского пункта (ксерокопия паспорта из архива ФАП, снята при обращении за мед. помощью весной 2008 г., обстоятельства обращения не зафиксированы). Паспорт пациентки при ней не обнаружен. Зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. XX, кв. XX. В Мезенском районе проживала временно, без регистрации. Адрес временного пребывания установлен приблизительно: дом без номера на ур. Бор, в 4 км юго-восточнее пос. Кулой, по просёлочной дороге в направлении оз. Чёрного.

Обстоятельства поступления. Обнаружена 20.12.2008 жителем пос. Кулой Тютиным Ф. И. на заболоченном участке в 1,2 км от указанного дома, в состоянии ступора. Одея не по сезону (домашняя одежда, без верхней, обувь отсутствует). Температура тела при обнаружении не измерена. При доставке в ФАП — 34,8 °С (аксиллярно). Общее переохлаждение средней степени. Доставлена в ФАП пос. Кулой, стабилизирована, переведена в ЦРБ г. Мезени.

Данные анамнеза (со слов фельдшера ФАП пос. Кулой Горюновой Н. В. и сотрудников ОМВД по Мезенскому р-ну). Пациентка проживала в указанном доме совместно с мужчиной, личность не установлена (предположительно сожитель). Длительность совместного проживания — с весны-лета 2008 г. В начале октября 2008 г. к дому приезжал мужчина на автомобиле. Впоследствии установлено: Левин Сергей Андреевич, 1978 г. р., муж пациентки, причина смерти — политравма вследствие падения с высоты ок. 8 м на каменистый грунт, дело закрыто как несчастный случай (постановление ОМВД от 14.11.2008). По данным фельдшера, со ссылкой на сведения участкового: гибель мужа — первые числа октября. Между гибелью мужа и обнаружением пациентки — ок. десяти-одиннадцати недель.

Сожитель пациентки покинул место проживания в неустановленное время. По опросу ближайших жителей: «ушёл вскоре после случившегося, возвращался, потом уехал совсем». Точные даты установить не удалось. Со слов жительницы д. Заозерье Марковой Т. Е.: «Видала его числа двадцатого, може двадцать второго, шёл от дому к дороге, нёс что-то, не разглядела что» (без уточнения — октября или ноября).

В период между серединой октября и началом ноября 2008 г. (дата не установлена) пациентка родила ребёнка. Срок беременности на момент родов — ок. 8 мес. (по косвенным данным: дата последней менструации неизвестна; срок определён по данным гинекол. осмотра при поступлении, ретроспективно). Ребёнок мёртворождённый. Пол не подтверждён. Тело ребёнка при осмотре дома и прилегающей территории (произведённом сотр. ОМВД в рамках дела о гибели Левина С. Б., а не в связи с родами) не обнаружено. Медицинское свидетельство о рождении и смерти не выдавалось. Акушерская помощь не оказывалась. Обстоятельства родов неизвестны.

Состояние при поступлении в НИИ. Общий вид: астенизирована, пониженного питания. ИМТ 16,2. Рост 168 см, масса тела 45,7 кг. Кожные покровы бледные, сухие, тургор снижен. Следы обморожения I ст. на пальцах обеих рук и обеих стоп. Множественные поверхностные ссадины и заживающие царапины на предплечьях и голени, предположительно от передвижения по заболоченной и кустарниковой местности. Волосы тёмно-русые с обильной ранней сединой. Гигиеническое состояние неудовлетворительное (частично скорректировано в ЦРБ).

Гинекологически: состояние после родов давностью ок. 2 мес., инволюция матки замедлена, лактация отсутствует. Выделения скудные, серозные. Признаков послеродовых осложнений, требующих хирургического вмешательства, не выявлено.

Неврологически: без грубой очаговой симптоматики. Рефлексы с конечностей симметричны, живые. Менингеальных знаков нет.

Психический статус. Сознание формально ясное. Ступорозное состояние с элементами кататонии: восковая гибкость (*flexibilitas cerea*) верхних конечностей, мутизм, отсутствие реакции на обращённую речь, периодическая застываемость в неудобных позах (при попытке изменения положения тела — кратковременное пассивное сопротивление с последующим подчинением). Ориентировку проверить не удалось. Контакт недоступен. Взгляд фиксирован в точке перед собой, не прослеживает объекты. Эмоциональные реакции не определяются. Аутоагрессии, ге-тероагрессии не выявлено. Галлюцинаторное поведение на момент осмотра отсутствует (оценка ограничена в условиях мутизма).

Предварительный ds: Кататонический синдром в рамках (1) острого стрессового расстройства / (2) диссоциативного расстройства / (3) дебюта шизоаффективного расстройства.

Дифф. диагностика. Рекомендовано: наблюдение, нейролептики в min дозе, контроль соматического статуса, восполнение дефицита питания.

Дежурный врач: Степанова Е. А. [подпись] И. о. главного врача: Ветров Б. А. [подпись]

Я прочёл протокол дважды. Поставил на полях дату чтения — 3 октября 2025 года — и начал отмечать карандашом то, что требовало перепроверки.

Первое. Хронология. Муж погиб в начале октября. Роды — предположительно вторая-третья декада октября. Обнаружение — 20 декабря. Поступление сюда — 28 декабря. Между родами и обнаружением — около двух месяцев. Женщина провела этот срок в нежилом доме, в начале полярной зимы, после мертворождения и без медицинской помощи, при массе тела сорок пять килограммов. Протокол фиксировал это в том же ряду, что и адрес, — ровным строем рубрик, без изменения шрифта.

Второе. Тело ребёнка не обнаружено. Не осмотрено. Пол не подтверждён. Свидетельство не выдано. Фельдшер, по-видимому, не осматривала дом сама — данные записаны со слов сотрудников полиции, которые обследовали территорию в рамках дела о гибели Левина С. Б., а не в связи с родами. Искали следы падения, а не следы ребёнка. На обороте второго листа, в левом верхнем углу, мелким почерком, отличным и от почерка Степановой, и от почерка Ветрова, было вписано: «Реб. фельдшеру не передавался. Тело не осматр. Захоронение, если производилось, произведено неуст. лицом». Кто оставил эту пометку, когда и на каком основании — я не установил ни тогда, ни после.

Третье. Формулировка «сожитель пациентки». Без имени. Без фамилии. Ни фельдшер, ни участковый не записали. Жители посёлка описали его одной фразой — высокий, худой, малоразговорчивый. Показание жительницы деревни Заозерье — «шёл от дому, нёс что-то» — было единственным свидетельством его присутствия после гибели Левина, и оно не имело ни точной даты, ни точного содержания. В протоколе полиции, который лежал в третьей коробке и который я в тот день ещё не открывал, этот человек значился как «неустановленное лицо, предположительно знакомый пострадавшего и его супруги».

Я записал в рабочую тетрадь: «Проверить хронологию. Степанова — доступна? Горюнова — жива? Заозерье — Маркова Т. Е. — уточнить». Это были профессиональные вопросы. Я задавал их себе тем же тоном, каким задавал бы по любому другому архивному делу, а их в ординатуре через мои руки прошло шестьдесят с лишним.

Четвёртое — и я заметил это только при повторном чтении: в паспортных данных упоминалась ксерокопия паспорта из архива фельдшерского пункта, снятая «при обращении за мед. помощью весной 2008 г.». Обстоятельства обращения не зафиксированы. Это означало, что весной 2008 года Левина М. А. уже находилась в Мезенском районе, или, по крайней мере, проезжала через посёлок Кулой, и обратилась к фельдшеру за помощью, характер которой не известен. Она была тогда, по-видимому, в первом триместре. Я поставил на полях вопросительный знак. Потом ещё один. Потом зачеркнул оба, потому что два вопросительных знака — это уже не клиническая помета, а что-то другое, чему я тогда ещё не давал названия.

Тридцатилетняя женщина. Кататонический синдром на фоне острого стресса, отягощённый соматически. Семнадцать лет в учреждении. По классификации, которой я тогда пользовался, это укладывалось в рубрику длительного течения с хронификацией и вторичной институционализацией, и рядом с датой чтения я поставил сокращение, которым обозначал подобные случаи ещё в Сербского.

В нижней части протокола, под подписью Степановой, стояла виза — «И. о. главного врача Ветров Б. А.» Почерк мелкий, ровный, наклон вправо. Тогда эта подпись значила для меня то, что и должна была значить: регламентная виза руководителя при поступлении. Степанова дежурила. Ветров подписал. Пациентка принята. Из карты назначений, подшитой следом, я увидел, что Ветров перевёл пациентку под своё ведение через четырнадцать дней —

без записки Степановой, без визы Стрельникова, без единого слова объяснения в журнале. Запись от 11 января 2009 года: «Принимаю ведение. Б. В.» Три слова. Я отметил их, потому что они нарушали процедуру: перевод пациента от одного врача к другому в государственном учреждении требует обоснования, хотя бы формального. Ветров обоснования не оставил. По привычке я вписал рядом: «Нарушение протокола — намеренное или небрежность?», — и поставил пометку «вернуться».

Я отложил протокол и начал перебирать остальные формуляры первого тома. Их было одиннадцать: три эпикриза, две выписки из журнала назначений, карта динамического наблюдения, справка из ЦРБ, акт гинекологического осмотра, два рапорта дежурных медсестёр и сопроводительное письмо из ОМВД. Я разложил их по датам и приступил к чтению в том порядке, в каком привык работать.

Я закрыл коробку — первую из шести, с протоколами поступления и выписками за 2008—2009 годы — и сложил свои пометы на листе, который положил сверху. Пометы были аккуратными: номера страниц, где обнаружились несовпадения дат, знак вопроса напротив заключения дежурного фельдшера, три расхождения между показаниями скорой и приёмным листом, которые могли быть ошибками переписчика, а могли быть чем-то ещё. Я привык так работать: прежде чем читать дело, я читал его ошибки, потому что ошибки рассказывали о том, как дело составлялось, а по тому, как составлялось, можно было судить, насколько торопились, насколько были небрежны, насколько им было не до того.

Лампа гудела. Окно было чёрным, и за ним стоял октябрь, но я не мог сказать, какой час; телефон я оставил в квартире, часов в архиве не было. Я убрал коробку на полку, проверил, что обе картонные папки с пометкой «личное Б. А.» стоят так, как я их нашёл, и выключил лампу. Несколько секунд глаза привыкали. Потом я нащупал дверь и вышел на площадку.

Лестница в башне шла винтом, каменные ступени были стёрты посередине — четыреста лет хождения. Я спускался, держась за стену, потому что перил не было, а единственная лампочка горела только на нижней площадке. На последней ступени я остановился, потому что от каменной кладки несло холодом, который имел вес и толщину, как если бы воздух в башне был слоистым: внизу — четыре-пять градусов, наверху, в архиве, где работал обогреватель, — около двенадцати.

Двор был пуст. Я пересёк его — двадцать, по-видимому, тридцать метров до Поморского корпуса, — и вошёл через боковой вход, потому что центральный к этому времени запирали кто-то из персонала. Коридор второго этажа был освещён дежурным светом: по две лампы в каждом конце, жёлтые, маломощные. Палата М. А. — последняя по правой стороне — была закрыта. Под дверью лежала полоса света, узкая, ровная, без мерцания, — я отметил это машинально, как отмечал всё, что касалось ночных привычек пациентов: горит ли свет, в какое время гаснет, есть ли признаки нарушений сна. Полоса не двигалась. Я прошёл мимо.

Квартира в корпусе Ветрова была холоднее, чем я ожидал; батарея работала, но в спальне, которую я использовал как кабинет, — слабо. Я поставил чайник. Достал тетрадь — стандартную, клетчатую, купленную в канцелярии института, — и сел за стол Ветрова, то есть за тот стол, который мне достался вместе с кабинетом и квартирой, вместе с его книжными полками и его пациенткой, и который я, за неимением другого, называл своим.

Служебный дневник я завёл в первую неделю — практика, которую рекомендовал мой руководитель в ординатуре: не для отчётности, а для фиксации собственных впечатлений, которые впоследствии могут оказаться клинически значимыми, а могут и нет, но которые в любом случае полезно зафиксировать, пока они не обработаны. До этого вечера в тетради были три записи: две о пациентах общего отделения, одна — краткая — о предварительном осмотре архива. Четвёртую запись я сделал так.

Дело 09-КП-1147. Пациентка М. А. Адамова-Эриксон, 1977 г. р. Поступление 28.12.2008. Диагноз при поступлении: кататонический ступор на фоне аффективно-шоковой

реакции. Анамнез: гибель мужа (С. А. Левин, падение с обрыва, октябрь 2008), преждевременные роды на 34-й неделе, мёртворождение (девочка). Обнаружена соседями в болотном массиве к северу от дома, без сознания, гипотермия. Доставлена скорой медицинской помощью, переведена из районной больницы через трое суток. Срок непрерывного стационарирования: семнадцать лет. Ведущий врач — покойный Б. А. Ветров. Текущая фармакотерапия: оланзапин 10 мг, вальпроевая кислота, на ночь — доксепин 25 мг.

Предварительная оценка: длительно текущее диссоциативное расстройство с шизоаффективным компонентом, не вполне укладывающееся в рамки DID по DSM-5. Грамматический сдвиг в речи (использование мужского рода) отмечен в карте с 2009 года, трактовка неоднозначна. Прогноз: стабильная хроника, терапевтические задачи ограничены поддержанием текущего уровня функционирования. Клинически — случай тяжёлый, но не уникальный.

Я закрыл тетрадь. Допил чай. Вымыл кружку, поставил её на сушилку, вышел в коридор, выключил свет на кухне и лёг. Кровать была узкая, институтская. В стене за изголовьем что-то тикало — по-видимому, трубы отопления, по-видимому, воздух в системе. Я лежал и думал о том, что протокол поступления был составлен небрежно, что три даты в нём не совпадали друг с другом, что фельдшер написал «гипотермия средней степени», а через два листа терапевт написал «тяжёлая», и что это нужно было уточнить, и о том, что дело, в сущности, было понятным, в том смысле, в каком бывают понятны дела, которые длились слишком долго и с которыми ничего нового уже не сделаешь, кроме как вести.

Я пишу это в сентябре двадцать седьмого года, и единственное, что я могу сказать об этом вечере сейчас, — что на него приходилось последнее моё суждение, вынесенное из уверенности в собственном аппарате.

Потом я заснул. Или не заснул. Во всяком случае, утром я обнаружил, что лежу одетым, а свет на кухне, который я точно выключил, горит.

ГЛАВА V

В первый раз я увидел её на третий день. До этого я читал её историю — то, что счёл нужным прочесть из шести коробок: краткий анамнез, протокол поступления, первые три месяца ведения, два эпикриза, — и готовился к ней так, как готовился к любому длительно текущему случаю, то есть старательно, последовательно, с карандашными пометами на полях и ощущением, что моя подготовленность каким-то образом относится к делу. Мне было тридцать лет, я только что из Сербского, я был уверен, что диссоциативное расстройство с шизоаффективным компонентом при хронифицированном течении — это нечто, с чем я уже встречался и что неплохо описано в литературе, и что описание в литературе каким-то образом заменяет описываемое. Я не понимал ничего.

За два дня в архиве я составил то, что в ординатуре мы называли предварительным портретом: пол, возраст, год поступления, основной диагноз, сопутствующие, медикаментозная схема — действующая и отменённая, — динамика по годам, отметки лечащих врачей, из которых Ветров был последним и единственным постоянным. Портрет был полным в том смысле, в каком бывают полны протоколы: он содержал всё, что поддавалось записи, и ничего из того, что записи не поддаётся. Я спустился из башни по каменной лестнице с этим портретом в голове и с убеждением, что знаю, к кому иду. Я знал её возраст, её рост, её вес, последнюю температуру тела — тридцать шесть и два в апреле, — длительность госпитализации, число суицидальных эпизодов, дату последнего из них — семь лет назад, 2018, кратковременный, купированный, — и мне казалось, что между этими цифрами и человеком, сидящим в библиотеке, существует связь, которую я способен прочесть.

Утро было обычным кулойским утром конца сентября: пасмурно, безветренно, около семи градусов, горизонт над болотами закрыт, река не видна из-за тумана, но слышна — ровный, едва различимый шум воды по камням. Я прошёл через двор. Двор между новым корпусом и Поморским — метров семьдесят на сорок, вымощен булыжником, в трещинах которого ещё держалась зелёная трава, сентябрьская, последняя. Поморский корпус стоял вплотную к восточной стене: двухэтажное здание 1690-х, перестроенное в тридцатые, с толстыми стенами из местного камня, облицованными побелкой, которая местами отошла и обнажала кладку — рыжевато-серую, неровную, ручной работы. Лестница на второй этаж — справа, сразу за входом, с деревянными перилами и железными перекладинами, установленными, по всей видимости, уже в советское время. Я поднялся, прошёл по коридору до конца и повернул налево.

Библиотека располагалась в последней комнате левого крыла, и само её существование было одной из тех странностей института, которые Стрельников упоминал вскользь и без охоты, как упоминают об архитектурном излишестве, которое стыдно убрать и невозможно оправдать: библиотека для пациентов, с фондом в несколько сотен томов, по большей части историческим, — наследие Ветрова, устроенное им, по-видимому, в начале десятых и сохранённое персоналом не столько из уважения к его памяти, сколько из привычки, которая здесь заменяла и уважение, и память. Параскева Петровна, когда я спросил её накануне, где можно найти пациентку Левину, посмотрела на меня тем коротким взглядом, который я уже начинал узнавать как единственный знак поморского удивления, — не расширение глаз, не поднятие бровей, а одно быстрое движение зрачков вправо и обратно, — и сказала: «В библиотеке. Она там с утра. Каждый день». Больше ничего не добавила, и я не спросил, потому что у Параскевы Петровны не спрашивают того, что она не сочла нужным сказать.

Дверь была открыта. Я постучал в косяк и вошёл.

Комната была невелика — метров двадцать, может быть, двадцать два. Два ряда стеллажей вдоль боковых стен, деревянных, некрашенных, каждый в шесть полок; книги стояли неплотно, с пробелами, так что местами были видны задние стенки — фанера, потемневшая.

Один стол посередине, простой, столовый, на четырёх ножках, с видимыми следами варенья на левом углу и продольной царапиной через всю столешницу — вероятно, ножом. Четыре стула, одинаковых. Восточное окно было единственным. Оно стояло без занавесок; рама была деревянной, двойной, с запотевшим внутренним стеклом и чистым наружным. Свет входил низко и плоско, потому что в конце сентября солнце над Кулоем к полудню уже начинает забирать к югу, и свет в восточных комнатах к десяти часам делается серым, цвета нестираного льна. Этот свет лежал на полу — плитка, а не доска, казённая, советская, коричнево-жёлтая, с выбоиной у порога — и упирался ей в колени.

Она сидела у окна, в стуле с подлокотниками, и читала. Стул был деревянный, казённый, но с подушкой, подложенной под спину, — серой, больничной, с двумя ушитыми разрывами. Том у неё на коленях я опознал не сразу — обложка была перевернута, и мне виден был только обрез, потёртый, с характерным потемнением внизу, какое бывает у книг, которые читают много лет одни и те же руки. Позже я рассмотрел: Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях», том второй, издание шестидесятых или семидесятых, с библиотечным штампом архангельской областной. Книга, по всей вероятности, была одной из тех, что появились здесь по записке из Осло, но тогда я этого ещё не знал; я не знал ни об Осло, ни о записках, ни о том, что существует человек, который семнадцать лет посылает сюда книги и деньги, и этот человек не появляется в карте, не появляется в анамнезе, не появляется нигде, кроме нескольких строк в личных папках Ветрова, до которых я ещё не добрался.

Я знал, что ей сорок восемь. Это было в карте. В карте также было: рост сто шестьдесят два, вес сорок девять — последнее взвешивание апрель 2025-го, за пять месяцев до моего приезда. Сорок девять килограммов при ста шестидесяти двух сантиметрах роста — это конституциональная худоба, переходящая в клинически значимую, и я помню, что отметил это карандашом в архиве, и помню, что пометка была аккуратная, профессиональная, и что я, ставя её, думал об алиментарном статусе и ни о чём другом. Здесь, у окна, карточная запись ничего не объясняла. Она была худа так, как бывают худы люди, которые давно перестали думать о теле как о чём-то, что нуждается в их внимании: не болезненно, не демонстративно, а просто — как факт, как температура в комнате, как цвет стены. Свитер на ней был шерстяной, тёмно-серый, крупной вязки, явно не её размера — на два, может быть, на три размера больше, так что рукава были подвёрнуты на запястьях двойной складкой, и я видел только пальцы. Они лежали на книге. Длинные, сухие, с утолщениями в фалангах, с ногтями, стриженными коротко, без лака, — руки, которые делали что-то одно и то же очень долго. Что именно — я не знал. Потом узнал: она рисовала карты.

Седина была полной, ровной, без остатков прежнего цвета, — и это, в сочетании с худобой и прямой, напряжённо прямой осанкой, создавало впечатление не старости, а какой-то ранней, преждевременной завершённости, как если бы биологический возраст остановился не потому, что его задержали, а потому, что ему стало некуда двигаться.

Лица я не видел. Она сидела вполоборота к окну, и мне был виден только край скулы, тонкий, резко очерченный, и линия от скулы вниз — к подбородку, который она чуть опустила к книге. Лоб, глаза, рот — всё это было обращено к странице. Она не подняла головы, когда я вошёл.

— Здравствуйте, — сказал я. — Меня зовут Андрей Глебович Карцев, я новый врач-психиатр отделения. Я хотел бы с вами познакомиться, если вы не возражаете.

Это была стандартная формулировка первого контакта, рекомендованная для пациентов с длительной госпитализацией: представиться по имени и должности, обозначить цель визита, оставить пациенту право на отказ — и всё это ровным голосом, без нажима, с профессиональной мягкостью, которую нам ставили в Сербского на третьем году ординатуры и которая работала почти всегда. Я стоял у двери и ждал. Она не шевельнулась.

Я прошёл к столу и сел напротив неё — не ближе полутора метров, не дальше двух, на стул, который я чуть развернул, чтобы сидеть к ней лицом, а не боком, — и это разворачивание стула было, как я теперь понимаю, первым движением в комнате, которое принадлежало мне, а не протоколу. Стул подо мной скрипнул, и этот скрип был единственным звуком в комнате, потому что в библиотеке Поморского корпуса не было ни батарей (отопление шло по полу, трубами, оставшимися от дореволюционной системы, которую Аким поддерживал каким-то немыслимым образом), ни часов, ни радиоприёмника, ни сквозняка — только низкий, на грани слышимости, гул, который я уже начинал узнавать как гул звонницы при юго-западном ветре.

Я сидел и смотрел на её руки. Она продолжала читать. Страница, по-видимому, была длинной; я различал мелкий шрифт на обороте — двести сорок третья или двести сорок четвёртая, что-то о Великом Новгороде, по-видимому, о XVI веке, о падении республики, — впрочем, я мог ошибаться, потому что расстояние не позволяло читать текст, а только угадывать. Она читала медленно. Палец не двигался по строчке, глаза — мне не было видно глаз.

— Марта Адамовна, — сказал я, выдержав, по моим подсчётам, около двух минут, — как вы себя чувствуете сегодня?

Вопрос был дежурным. Я это знал. В контексте длительно текущего случая он имел ту же ценность, что и приветствие, — нулевую по содержанию, ненулевую по функции: пациент должен зарегистрировать присутствие нового клинициста, и клиницист должен зарегистрировать тип ответа — вербальный, невербальный, отказ, агрессия, уход. Вопрос «как вы себя чувствуете» предназначен не для получения информации о самочувствии, а для калибровки поля. Я знал всё это. Я произносил это с тем внутренним убеждением, которое даёт ординатура, и которое, как мне тогда казалось, от меня неотделимо.

Она не ответила.

Я подождал ещё минуту. Свет в комнате сдвинулся; низкое облако за окном прошло, и на две-три секунды серый стал чуть светлее, а потом вернулся. Её руки лежали на книге в том же положении: левая ниже, правая выше, на правой — сгиб мизинца. Шерсть свитера чуть топорщилась на локтевом сгибе, и там, в этом сгибе, была единственная деталь, которая принадлежала не ей, а одежде: тёмная нитка, зацепившаяся за спицу стеллажа или за край стула, и вытянутая на три-четыре сантиметра, и никем не обрезанная.

— Я прочёл ваше дело, — сказал я. — Не полностью; мне ещё многое предстоит. Но я хотел бы начать наше общение не с бумаг, а лично. Если у вас есть вопросы ко мне — я здесь.

Эта фраза тоже была из методички, хотя и менее стандартная: обнаружить готовность к обратной связи, дать пациенту позицию спрашивающего, перераспределить власть в контакте. Я верил в это. Мне кажется, я и произнёс это с некоторой убеждённости — не актёрской, а той, которая бывает у молодых врачей, когда инструмент ещё блестит и ещё не затуплен ни одним случаем, в котором инструмент не работает.

Тишина.

Она перевернула страницу. Движение было коротким и точным: правая рука подняла угол, левая придержала корешок, страница легла. Она не слюнявила палец. Не разглаживала. Только перевернула — и продолжила. В этом движении, в его законченности, в отсутствии всего лишнего — колебания, поправки, повтора — было что-то, чему я в тот момент не нашёл клинического определения, но что узнал: так движутся люди, которые провели с предметом достаточно времени, чтобы между ними и предметом не осталось зазора. Я видел это у хирургов, которые не глядя кладут инструмент. Я видел это у матери, когда она за полгода до смерти резала хлеб — одним движением, без крошек. Здесь было то же. Это не был знак болезни. Это был знак привычки, которой хватило на восемнадцать лет.

Я сидел. Я не знал, сколько прошло — три минуты, пять. Я не смотрел на часы, потому что смотреть на часы при пациенте в первом контакте считается нарушением, а я, по-видимому, всё ещё жил внутри того, что считалось и не считалось, и это «считается» было един-

ственным языком, на котором я умел с ней разговаривать, — хотя она, разумеется, на этом языке не разговаривала ни с кем.

Потом она заговорила.

Я не могу сказать, что она подняла голову, — она её, строго говоря, не поднимала. Она чуть повернула её, на несколько градусов, в мою сторону, и я увидел — впервые — линию носа, прямую, узкую, и часть правого глаза, и этот глаз не был направлен на меня, а проходил мимо, куда-то левее и выше, на стеллаж за моим плечом или на стену за стеллажом.

— Я вас ждала, — сказала она. — Не вас лично — кого-нибудь похожего.

Голос был низким, ровным, без хрипоты и без напряжения. Негромким — скорее так, как говорят люди, привыкшие к тому, что в комнате один собеседник, и привыкшие к тому, что расстояние между ними и этим собеседником — фиксированное. Она не модулировала. Не расставляла ударений. Два предложения, пауза между ними — короткая, длиной в один вдох, может быть, в два. Второе предложение было не уточнением первого, а поправкой: первое сообщало факт ожидания, второе — его условие. Она знала, кто я. Она знала, зачем я пришёл. Она сообщала мне не это — она сообщала мне, что я заменим.

Я не ответил. Не потому что растерялся, а потому что мне нечего было ответить, и я — в тот единственный раз — распознал это до того, как открыл рот.

Прошла минута. Или две. Она вернулась к книге. Я видел, как пальцы правой руки сдвинулись на полстрочки вниз; она читала или не читала — я не знал. Свет не менялся. Гул звонницы держался на прежней ноте, и к нему присоединился другой звук, отдалённый, за стеной — вода из водосточной трубы по камню, капля за каплей, с тем беспорядочным ритмом, который невозможно предсказать и невозможно перестать слушать. Потом она сказала, не поднимая головы, тем же голосом, с тем же объёмом:

— Борис Аркадьевич умер. Вы пришли позже, чем нужно.

Она сказала «Борис Аркадьевич» — не «доктор Ветров», не «Борис», не «Б. А.», как было в тетрадах, которые я тогда ещё не читал. Она произнесла имя и отчество полностью, вслух, и это были не слова о нём, а его имя, звучащее в комнате, в которой он когда-то сидел на том стуле, на котором сидел сейчас я. Фраза содержала три вещи одновременно, и я расслышал все три, хотя не смог бы тогда ни одну из них назвать. Могу назвать сейчас, но не стану — потому что название здесь означало бы, что я понял, а я и через два года не уверен, что понял.

Я встал. Стул скрипнул — тот же звук, что при моём появлении. Я сказал: «Спасибо, Марта Адамовна. Я зайду в другой раз, если позволите». Это тоже была формулировка, и я произнёс её автоматически, и она была единственным, что мой клинический аппарат мог в этот момент произвести, — как станок, продолжающий штамповать одну и ту же деталь после того, как все остальные части конвейера уже остановились.

Она не ответила. Не кивнула. Не пошевелилась. Я видел её со спины, уходя: свитер, седина, низкий свет, книга на коленях. Пальцы правой руки лежали на той же строчке.

Я вышел и закрыл дверь — медленно, потому что дверь была тяжёлой, дубовой, с латунной ручкой, оставшейся, вероятно, от монастырских времён, и при закрывании она издавала тугую, плотный стук, который гасился толщиной стен. Коридор Поморского корпуса на втором этаже был длинным, узким, с двумя поворотами и рядом одинаковых дверей по правой стороне; потолок низкий, побелённый, с видимыми остатками старой кладки в арочных нишах. Пол — та же плитка, что в библиотеке, коричнево-жёлтая, стёртая по центру до более светлого оттенка, в котором угадывались десятилетия хождения одними и теми же маршрутами: до поворота, от поворота, до лестницы, от лестницы.

Я прошёл четыре шага и остановился. Стена была каменной, оштукатуренной, с холодом, который шёл от неё ровно, без температурных перепадов, — не тот холод, что бывает от сквозняка или от разбитого стекла, а тот, что держится в камне сам по себе, четыреста лет, и не изменяется ни от какого отопления. Я прислонился к этой стене правым плечом и стоял.

Ничего связного я в тот момент не думал. Это не фигура речи и не ретроспективная конструкция: я действительно не думал ничего, и если бы Стрельников попросил меня через десять минут заполнить протокол первой встречи, я бы заполнил его стандартно, без заминки, потому что клинический аппарат во мне работал исправно, — только ему было нечего обрабатывать. Не потому что встреча не содержала материала, а потому что материал этой встречи не принадлежал ни одной из категорий, которым меня учили. Пациентка установила контакт, вербализация адекватная, мышление структурировано, аффект — и здесь моё перо в служебном дневнике, если бы я его тогда открыл, споткнулось бы, потому что аффект был, по-видимому, ровным, но ровность эта была не индифферентностью, не уплощённостью и не контролем, а чем-то, чему в моём словаре на тот момент не было имени. Сейчас я стал бы искать слово — и не нашёл бы его, потому что, в той мере, в какой я это вообще понимаю, дело было не в аффекте, а в точности. Она была точна. Два её предложения были точны так, как бывают точны не клинические формулировки, а предметы: камни, инструменты, вещи, у которых нет лишнего.

Я стоял у стены. За дверью библиотеки было тихо. Я не слышал ни движения стула, ни шагов, ни шуршания страниц — только ту же капель за окном в конце коридора, и где-то далеко, за пределами корпуса, приглушённый звук мотора — вероятно, генератор котельной, который Прохор включал по утрам.

Потом я услышал шаги. Они шли из-за поворота коридора — негромкие, ровные, с коротким стуком каблука по плитке, не тяжёлые и не лёгкие, а такие, какие бывают у людей, которые ходят по одному и тому же коридору десятки лет и давно перестали соотносить свою походку с чьим-либо присутствием. Параскева Петровна прошла мимо меня — в полуметре — в своём обычном тёмном халате, с кольцом ключей у пояса, которое при каждом шаге производило один короткий звук, металлический, чистый, без дребезжания, как будто ключи были подбраны и подвешены именно с тем расчётом, чтобы звучать так, а не иначе. Она не посмотрела на меня. Не замедлила шага. Не произнесла ни слова. Только, проходя, выдохнула — коротко, через нос, тем северным полу-вздохом, который не означает ни сочувствия, ни осуждения, ни удивления, а означает только то, что один человек прошёл мимо другого и отметил его присутствие, и что этого достаточно.

Шаги удалились за поворот. Звон ключей стих. Дверь в конце коридора — третья от лестницы — открылась и закрылась, коротко, без стука, как закрываются двери у людей, умеющих обращаться с засовами и петлями. Я стоял у стены.

За окном в конце коридора небо было тем же, что и в библиотеке, — серым, плоским, низким, без определённого источника света. Где-то за стеной лаяла собака — одна, без отклика, три-четыре раза, потом замолчала. Водосточная труба под карнизом продолжала щёлкать — капля, пауза, капля, — и эти щелчки были единственным звуком, отмерявшим время, потому что часов у меня с собой не было, а время, по-видимому, шло.

Потом я оттолкнулся от стены и пошёл к себе, в квартиру, через двор, по дорожке вдоль южной стены, мимо конюшни, где Прохор что-то делал — я видел его спину и слышал звук ведра о каменный порог, — и дальше, к новому корпусу, по лестнице на третий этаж, в комнату, где стол стоял у окна, а на столе лежала папка с пометкой «М. А., карточка стационарная», и рядом — служебный дневник, в котором я пока ничего не написал. Я не открыл ни папку, ни дневник. Я сел за стол и сидел, по-видимому, долго — в комнате стемнело, прежде чем я встал и включил свет, — и всё это время, в той мере, в какой я в состоянии это восстанавить, я не формулировал ничего. Не перебирал дифференциально-диагностических версий. Не планировал тактику следующего контакта. Не записывал наблюдений. Просто сидел — в комнате, в сумерках, с папкой на столе, с видом из окна на стену, — и это сидение, по-видимому, было первым в моей профессиональной жизни временем, в которое я не работал и не притворялся, что работаю.

В тот вечер я написал в дневнике: «Первый контакт с пациенткой Левиной М. А. Ориентирована, в контакте избирательно, мышление последовательное. Эмоциональный фон ровный. Рекомендации: продолжить наблюдение, повторный визит через 3—5 дней». Запись заняла четыре строки. Я расписался и закрыл тетрадь.

(Через два года, когда я начну писать то, что сейчас лежит перед вами, я перечитаю эту запись — она будет в числе немногих бумаг, которые я увезу с собой, — и не найду в ней ничего ложного. Каждое слово клинически точно. Каждое слово не имеет отношения к тому, что произошло.)

Кулой. 27 сентября 2025. Среда, десять часов утра, библиотека Поморского корпуса, восточное окно, том Костомарова, пальцы, лежащие на двести сорок третьей странице, ровный голос, в котором не было ничего лишнего. Два предложения. Одиннадцать слов. Этого мне хватило на десять месяцев.

ГЛАВА VI

Она вышла в десять минут одиннадцатого, и я это заметил случайно — потому что стоял у окна верхнего коридора в Поморском, ожидая, пока Маша закончит влажную уборку в библиотеке, и смотрел вниз без цели, как смотрят на двор учреждения, в котором провёл пока ещё слишком мало дней, чтобы перестать замечать его устройство.

Она вышла из бокового входа, того, что ведёт в хозяйственный проход между Поморским и трапезным корпусом, и повернула направо, к стене.

Стена начиналась в четырёх шагах от угла здания. Кирпич — крупный, ручной формовки, семнадцатого или, в перекладках, восемнадцатого века; цвет неоднородный, от тёмно-рыжего до почти серого в тех местах, где раствор выступал и затвердевал наплывами. Высота — около четырёх метров; я измерил позже, и вышло три девяносто на южном участке и четыре десять на северном, потому что грунт немного понижался к реке. Периметр — двести на сто пятьдесят метров, если верить плану Б. П. С. 1971 года, подшито к хозяйственной документации. Четыре угловые башни — северо-западная, северо-восточная, юго-западная (в ней архив) и юго-восточная, самая разрушенная, с провалом в кровле, затянутым брезентом.

Марта шла вдоль стены.

Не по дорожке — дорожки там не было, была полоса утоптанной земли, вероятно, вытоптанная ею самой за годы. Полоса шла в полуметре от кладки, иногда ближе, где кирпич выступал и сужал проход. Она шла ровным шагом, не быстрым и не медленным, — я потом, когда стал за этим следить, подсчитал примерно семьдесят два шага в минуту, что соответствует нормальной прогулочной скорости взрослого человека среднего роста, хотя она была скорее невысокой. Руки вдоль тела. Голова чуть опущена, но не так, как опускают при разглядывании земли, а так, как держат при привычном усилии — угол был постоянный, градусов десять ниже горизонтали, не больше.

Она прошла южный участок — длинный, сто пятьдесят метров — примерно за минуту сорок. У юго-восточной башни не остановилась. Повернула, не замедляя шага, и пошла вдоль восточной стены на север. С моего окна восточный участок был виден хуже — Поморский стоит в северо-западной части комплекса, и восточная стена уходила от меня, — но её фигура оставалась различимой, серая куртка на фоне рыжего кирпича. Куртка была та же, что и в библиотеке позавчера, или другая такого же цвета, — я не мог определить. У юго-восточной башни фигура уменьшилась почти до точки, потом снова стала расти, двигаясь по восточной стене к северо-восточному углу.

Северная стена. Здесь я видел её лучше — она шла навстречу, в той мере, в какой можно идти навстречу наблюдателю, который стоит на двадцать метров выше и шестьдесят метров в стороне. Двести метров северного участка она прошла ровно. Ни разу не подняла головы. Ни разу не остановилась. Ветер дул с северо-запада, в лицо, и я видел, как куртка прижималась к телу с левой стороны, но походка не менялась — ни наклона корпуса, ни укорочения шага, ничего из того, что обычно выдаёт человека, идущего против ветра.

У северной башни она остановилась.

Остановка длилась от трёх до пяти секунд; я не засекал, я ещё не знал, что буду засекать. Она стояла лицом к башне, вполоборота ко мне, и я видел только контур — плечо, край капюшона, который она не надела. Потом повернулась и пошла обратно, по тому же маршруту, вдоль западной стены на юг. Западная стена ближе всего к Поморскому, и здесь, если бы она подняла голову, она увидела бы меня в окне. Она не подняла.

Полный круг — четыре стены, четыре поворота у башен, одна остановка у северной — занял девятнадцать минут. Или двадцать, я записал обе цифры, потому что не был уверен, с какого момента начал считать: с выхода из двери или с первого шага вдоль кладки.

Она сделала второй круг.

Второй был тождествен первому. Та же скорость, тот же угол головы, та же остановка у северной башни — те же три-пять секунд, лицом к кирпичу, — и тот же обратный ход. Я простоял всё это время у окна, и Маша дважды прошла за моей спиной — второй раз сказала что-то про библиотеку, я не расслышал.

После второго круга она вернулась к боковому входу и вошла в здание. Дверь закрылась. Я посмотрел на часы: десять тридцать восемь.

На следующий день я подошёл к тому же окну в десять ноль пять. Она вышла в десять ноль девять. Два круга. Девятнадцать минут. Остановка у северной башни. Ветра в тот день не было, и разницы с предыдущим днём — никакой. Ни в шаге, ни в скорости, ни в развороте, ни в длительности остановки.

К концу первой недели наблюдений — я вёл их из того же окна, не скрываясь, но и не обнаруживая себя специально, — у меня накопилась таблица из семи строк. Время выхода варьировалось в пределах четырёх минут: самый ранний — десять ноль шесть, самый поздний — десять десять. Время круга — от восемнадцати минут сорока секунд до двадцати минут ровно. Всегда два круга. Остановка у северной башни — всегда, продолжительностью от трёх до семи секунд. Остановок у других башен — ни одной.

Дождь на третий день — мелкий, косой, беломорский — не изменил ничего. Та же куртка, тот же шаг, та же полоса земли. Капюшон она и в дождь не надела.

Я записал это в служебный дневник, который начал вести по форме, привычной мне со времён ординатуры в Сербского: дата, наблюдение, вопрос. Вопрос к первой неделе был один, и я сформулировал его так: «Характер ритуала: компульсивный, волевой или нечто третье, для чего в имеющейся номенклатуре нет удовлетворительного определения?» Никакого ответа я в тот момент не имел. Вопрос, впрочем, по-видимому, был поставлен неправильно, потому что он предполагал, что наблюдаемое поведение должно принадлежать одной из трёх категорий, а оснований для такого предположения у меня не было — только привычка к классификации, которая к тому времени, в той мере, в какой я мог это оценить, ещё работала.

Я стал следить за её прогулками — не нарочно, не по графику, а потому что окно ординаторской, куда я заходил за бланками направлений, выходило на северо-западный участок стены, и если я стоял у окна в половине десятого утра, я не мог её не видеть. Она шла всегда в одном направлении — от ворот к северной башне, — поворачивала там, где кладка меняется с красного кирпича на белёный камень, и шла обратно. Двадцать минут. Иногда двадцать две, если ветер был встречным на обратном участке, но я тогда ещё не засекал — засекал стал позже, в ноябре, когда начал вести записи.

Шаг у неё был ровный. Не медленный, не быстрый — скорость человека, который знает расстояние и не нуждается в том, чтобы его преодолевать. Руки — в карманах или вдоль тела, в зависимости, по-видимому, от температуры, а не от чего-либо иного. Голова чуть опущена. Она не смотрела по сторонам, не останавливалась, не менялась в лице, в той мере, в какой я мог это определить с третьего этажа. С третьего этажа я видел только фигуру — худую, в сером свитере, который был ей велик, — и направление. Фигура шла от ворот. Фигура возвращалась. Фигура исчезала за углом Поморского корпуса, и я шёл дальше по своим делам, унося с собой ощущение, которое мне тогда представлялось чисто профессиональным: стереотипное поведение, ригидность маршрута, отсутствие контакта со средой — я мог бы записать это в карту, если бы счёл нужным. Я не записал.

На второй или третий день наблюдений — я не помню точно, записей за тот период нет, а память ненадёжна именно в тех местах, где хочется быть точным, — я спустился на второй этаж за полчаса до обеда. Коридор Поморского корпуса — длинный, с четырьмя окнами по левой стороне и четырьмя дверями палат по правой, — был пуст, если не считать запаха хлорки и отдалённого кашля за одной из дверей. Я шёл в кабинет Стрельникова, чтобы подписать акт

приёмки медикаментов: рутинная процедура, о которой можно было бы не упоминать, если бы не то, что случилось на полпути.

Параскева Петровна вышла из палаты — не из палаты Марты, из соседней — с тазом, в котором лежало что-то, что я определил как использованное постельное бельё, и повернула ко мне. Я не знаю, видела ли она меня у окна наверху; думаю, что видела, потому что следующая её фраза была направлена не мне-проходящему, а мне-наблюдавшему, хотя формально она не имела оснований это различать.

Она сказала: «Это её работа, Андрей Глебович. Не мешайте».

Сказала на ходу, не останавливаясь, тем же тоном, которым за день до этого сообщила мне, что горячую воду дают с семи до девяти и что полотенца меняют по средам. Таз в её руках даже не качнулся. Она прошла мимо, свернула к лестнице и стала спускаться — я слышал её шаги, тяжёлые, ровные, с характерным поморским ударом пятки, который я к тому времени уже отличал от шагов остальных.

Я остался в коридоре. Работа. Я понимал каждое слово: «это» — прогулка, «её» — Марта Адамовна, «работа» — занятие, деятельность, функция. «Не мешайте» — не вмешивайтесь, не подходите, не включайте это в свою клиническую картину. Я понимал каждое слово и не понимал фразу. Я стоял в коридоре с чувством, которое мог описать только отрицательно: не растерянность, не обида, не профессиональный интерес. Что-то, для чего у меня не было категории, — а то, для чего у меня не было категории, в сентябре двадцать пятого года для меня не существовало.

Потом я пошёл дальше. Подписал акт. Стрельников спросил, всё ли в порядке с размещением, я ответил, что да. Вечером записал в служебный дневник: «М. А. совершает ежедневные прогулки по территории. Маршрут фиксирован, длительность стабильна. Рекомендуется дальнейшее наблюдение». Это было точное клиническое описание, и оно не описывало ничего.

(Я понял это только в феврале.)

Акт я нашёл потом в папке — подпись стоит, дата: двадцать третье сентября. Значит, это было двадцать третье. Значит, я к тому моменту находился в институте чуть больше двух недель. Значит, она ходила по стене каждый день из этих четырнадцати, и я этого не замечал, пока не оказался у правильного окна в правильное время. Параскева Петровна, надо думать, замечала все восемнадцать лет.

ГЛАВА VII

Ледостав в том году пришёлся, насколько я могу судить по записям в служебном журнале дежурного, на двадцать третье октября, — и это совпало, что бывает часто, со вторым или третьим настоящим снегом, который уже не таял, а ложился и оставался, заполняя пространство между стеной и рекой плотной ровной белизной, поверх которой ветер рисовал длинные горизонтальные полосы, потому что здесь ветер всегда горизонтален. Река шумела двое суток — странный, нечеловеческий звук, похожий на то, как тяжёлый груз сдвигают по каменному полу, — а на третье утро стихла. Я вышел после обхода на северный участок стены и увидел, что воды больше нет: там, где вчера ещё стояла тёмная осенняя река, лежала серая неподвижная масса, в которой угадывались швы и трещины. Прохор прошёл мимо с ведром, остановился, посмотрел вниз. «Встала», — сказал он и пошёл дальше.

Я записываю это подробнее, чем оно, возможно, заслуживает, потому что ледостав стал для меня разделительной чертой: до него я ещё мог уехать; после него дорога формально существовала, но что-то — не лёд, не снег, не расстояние, а скорее сдвинувшееся ощущение масштаба — сделало отъезд непредставимым. Институт перестал быть местом, в которое я приехал. Он стал местом, в котором я находился, — и разница между этими двумя состояниями, в той мере, в какой я могу её сейчас реконструировать, была не постепенной, а мгновенной.

В тот вечер я поднялся в архив. Отопление работало через раз; от окна тянуло, и я передвинул стол к дальней стене, ближе к трубе, которая ещё отдавала тепло. Шесть коробок стояли на месте. Две папки с пометкой «личное Б. А.» лежали на верхней полке, куда я их поставил в первую неделю и с тех пор не трогал. Я снял первую.

Внутри, под тремя или четырьмя листами машинописных выписок, лежала обычная тетрадь — формат А5, коричневый картонный переплёт без надписи, без года, без имени. Бумага была тронута сыростью, углы загнуты. Я открыл её осторожно, потому что первая страница держалась на клее, который высох и отходил. Почерк был мелкий, разборчивый, с лёгким наклоном влево, — я уже знал его по записке, переданной мне Параскевой Петровной в первую неделю, и по нескольким пометам на полях дела М. А., сделанным тем же пером. Это был Ветров.

Первая запись датирована двенадцатым января две тысячи девятого года.

Сегодня поступила пациентка М. А. Перевод из Архангельской областной; госпитализирована 28 декабря прошлого года в кататоническом ступоре. Я должен был передать случай Степановой — она формально ведёт приёмное отделение с осени, документы у неё. Я не передал. Не знаю, почему. Пока единственное объяснение — клиническое: Степанова назначит стандартную схему и будет ждать результата. В этом случае стандартная схема, по-видимому, не покажет результата. Но это не объяснение, а обоснование, и я не хочу путать одно с другим. Запишу, чтобы потом понять.

Вчитываюсь в анамнез. Женщина, 30 лет. Брак, беременность, мёртворождение (38 недель), гибель мужа предшествует мёртворождению на 9—11 дней (даты в протоколе противоречат друг другу; Степанова этого не отметила). Кататония развилась, согласно фельдшерской записи, в течение суток после родов. Найдена соседями через неделю — в некотором отдалении от дома, на болотах, в состоянии, которое фельдшер описал как «полную ригидность с открытыми глазами». Доставлена в районную больницу, оттуда в областную, оттуда к нам.

Степанова в первичном осмотре указала: «выраженный диссоциативный компонент, шизоаффективное расстройство не исключено». Назначила олан-запин 20 мг, лоразепам 4 мг. Я бы не спорил с назначением — на момент поступления оно формально корректно. Меня

настораживает другое. В графе «контакт» Степанова поставила прочерк. В графе «ориентация» — «дезориентирована полностью». В графе «речь» — «отсутствует».

Я видел М. А. сегодня. Двадцать минут. Она сидела на кровати в палате, которую я ей определил, — второй этаж Поморского, окно на восток, — и не двигалась. Руки на коленях, ладонями вверх. Я сел рядом. Сказал, кто я. Представился полным именем. Она не повернула головы. Через девять или десять минут — я засекал — она моргнула. Через четырнадцать минут сделала короткое движение пальцами правой руки, как будто перебирала что-то мелкое. Через двадцать минут я вышел.

Графа «контакт»: прочерк — неверно. Она присутствовала. Я не готов сформулировать, на каком основании я это утверждаю. Но прочерк — неверно.

13 января. Сегодня опять сидел с ней двадцать минут. Без слов. Она моргала чаще — семь раз за двадцать минут, я считал. Движение пальцами было снова, но левой рукой. Назначения оставляю без изменений. Степанова прислала записку с вопросом, зачем я перевёл пациентку в Поморский. Ответил: ближе к ординаторской.

Это неправда. Я перевёл её, потому что палата в братском корпусе имеет окно на запад, а эта — на восток. Утренний свет. Это не имеет клинического обоснования. Запишу как факт.

Я перечитываю то, что написал выше, — сейчас, через два с лишним года после этого вечера в архиве, — и вижу в этих записях то, чего в тот вечер не увидел. Ветров начинает дневник с фиксации собственного нарушения процедуры и тут же ставит дистанцию: не «я чувствовал», а «запишу, чтобы потом понять». Он не позволяет себе ни одного прилагательного. «Она присутствовала» — и после этого тишина, без развёрнутого комментария, без гипотезы. Он знал, что так не пишут карты. Поэтому он и завёл тетрадь.

Тогда, в октябре, я прочёл первые три записи и остановился. Стул был жёсткий, труба за спиной уже остыла, в архиве стоял запах холодного камня и старой бумаги. Снег за окном шёл вертикально — ветер стих. Часов я с собой не взял и не мог сказать, сколько времени прошло, но в коридоре за дверью давно было тихо, что означало, по-видимому, десять вечера или позже.

Я закрыл тетрадь, не дочитав. Положил обратно в папку. Положил папку на полку. Спустился по каменной лестнице, придерживаясь рукой за стену, потому что лампочка на втором пролёте снова перегорела. Прошёл двором. Снег скрипел. В окне палаты Марты — второй этаж, восточная сторона — горел свет.

Я вернулся в архив через час. Достал тетрадь. Начал читать с начала.

Я перевернул страницу. Почерк Ветрова — мелкий, с наклоном влево, без помарок, будто он заранее знал, что напишет, — продолжался ровно, без пропущенных дней. Тетрадь была из тех, что продаются в канцелярских магазинах при университетах: клетка, девяносто шесть листов, зелёная обложка без надписи. Бумага пожелтела по краю, но не ломалась. Ветров писал тонкой шариковой ручкой, синей, одной и той же, по-видимому, на протяжении всей тетради.

14 января. Третий день. М. А. в позе эмбриона, колени подтянуты к груди, руки согнуты, кисти у лица. Не реагирует на обращение по имени. Зрачки равные, фиксированные, на свет реагируют вяло. Мышечный тонус повышен — при попытке разогнуть предплечье сопротивление нарастает, потом отпускает ступенчато. Восковая гибкость: если осторожно поднять руку, рука остаётся в приданном положении до минуты. Назначил лоразепам 2 мг в/м, наблюдение круглосуточное.

16 января. Без изменений. Кормление через зонд. Степанова предложила перевод в Архангельск, где есть палата интенсивного наблюдения. Отказал. Причина: у нас есть круглосуточный пост, Параскева Петровна дежурит ночами лично, чего в Архангельске не будет.

Условия палаты удовлетворительные: температура поддерживается, бельё меняется дважды в день. Причина достаточная. Не знаю, единственная ли.

19 января. Вес при поступлении — 52 кг при росте 171 см. Нынешний — 50,8. Зондовое питание обеспечивает норму калорий, но не компенсирует потери мышечной массы при длительной иммобилизации. Заказал у Параскевы Петровны подушку для фиксации положения — чтобы можно было поворачивать на бок для профилактики пролежней, не нарушая позу, в которой М. А., по всей видимости, чувствует себя безопаснее.

Эту запись я прочёл дважды. Не из-за содержания — оно было рутинно, клинически безупречно. Из-за последних четырёх слов: «чувствует себя безопаснее». Ветров приписал ощущение безопасности женщине в кататоническом ступоре. Он не имел на это оснований. Или имел основания, которых не записал.

Двадцать четвёртое. Первое движение. М. А. повернула голову к окну. Медсестра Кузнецова зафиксировала время: 11:40. Окно восточное, свет в это время — серый, низкий. Снег. Поворот был медленным, около трёх секунд, без видимого усилия. Глаза открылись за мгновение до поворота. Голова удерживалась в повернутом положении одиннадцать минут, потом медленно вернулась. Не знаю, что она видела. Не знаю, видела ли.

Я отметил на полях: 24.01.09, запись 5. Написал карандашом: «первое произвольное движение — к свету? к звуку? уточнить у П. П., был ли шум снаружи». Потом зачеркнул «уточнить», потому что Параскева, по-видимому, уже давно ответила бы мне на этот вопрос, если бы сочла нужным.

29 января. Лоразепам — 3 мг, без существенного улучшения. Перешёл на золпидем 10 мг на ночь, эффект — более глубокий сон, но не выход из ступора. Днём — периоды открытых глаз стали длиннее, до получаса. Зафиксировал: при обращении «М. А.» — нет реакции. При обращении по имени «Марта» — нет реакции. При обращении «Марта Александровна» — микродвижение пальцев правой руки. Повторил трижды в разные дни. Результат устойчивый. Пока не интерпретирую.

Вечер того же дня. Параскева Петровна сообщила, что при ночной смене М. А. произвела звук. Не слово. Звук. Мычание, два слога, с ударением на втором. Кузнецова описала как «мм-ДА». Параскева описала иначе: «имя позвала, только не выговорила». Занёс обе версии. Не спросил, чьё имя, по мнению Параскевы Петровны, М. А. пыталась произнести. Побоялся, что ответ будет слишком определённым.

Я остановился на этой записи. Две версии одного звука. Кузнецова услышала фонетику. Параскева услышала значение. Ветров занёс обе, не выбирая. Это было — я уже тогда начинал это понимать — его метод: не выбирать между описаниями, а класть их рядом и ждать, пока одно из них или оба окажутся нужны. Я записал на полях дату и слово «метод», потому что это действительно было методом, и я тогда ещё не знал, что этот же метод через полгода станет моим.

3 февраля. Вторая неделя золпидема. М. А. открывает глаза на длительные периоды. Следит за движением в палате. Не фиксируется на лицах — скорее на руках. Смотрит на руки медсестёр, когда те меняют бельё. На руки Параскевы Петровны — когда та поправляет одеяло. На мои руки — когда я проверяю пульс. Не на лица.

Гипотеза: фокус на кистях — возможная регрессия к архаическим паттернам привязанности. Младенец сначала следит за руками матери, потом учится различать лицо. Если структура привязанности М. А. повреждена на ранних стадиях, логика восстановления может повторять онтогенез. Сначала — руки: то, что кормит, то, что держит, то, что может ударить или

отпустить. Потом — лица. Это спекуляция. Но я не видел ничего подобного в литературе по adult catatonia, и если это правда, то мы имеем дело с глубиной повреждения, которую я пока не готов формулировать.

Я отметил на полях: 03.02.09, запись 8. Вопрос, который я написал и потом зачеркнул, но не до конца — карандаш оставил серый след, и я прочёл его при хорошем свете, наклонив страницу: «Чи руки она ищет?»

8 февраля. Зонд снят — М. А. глотает, если подносить ложку медленно. Ест мало, но глотательный рефлекс восстановлен. Кузнецова кормит утром и вечером. Параскева Петровна — днём. Заметил: при кормлении Параскевой М. А. съедает больше. Фиксирую, не интерпретирую.

10 февраля. М. А. впервые посмотрела мне в лицо. Длительность контакта — около четырёх секунд. Взгляд не фокусированный, скорее сканирующий: прошёл от подбородка ко лбу и обратно. Я стоял у кровати, проверял назначения в листе. Она подняла голову — я заметил периферическим зрением — и смотрела. Я не двигался. Потом она отвернулась. Без видимой причины. Записал в журнал наблюдений; Кузнецовой сказал следить за визуальным контактом. Не сказал ей, что сердце у меня колотилось. Это была не эмпатия. Это был испуг — потому что в этом четырёхсекундном взгляде было больше присутствия, чем должно быть у человека после двух с половиной месяцев ступора.

12 февраля. Первое слово. Не уверен, что слово. Что-то похожее на «снег» или «свет». Кузнецова записала «свет». Параскева Петровна промолчала. Я был в кабинете, не слышал. Фиксирую с чужих слов. Приказал вести журнал вербализаций с точным временем, контекстом и присутствующими.

Запись 10, 12.02.09. На полях: «Б. А. фиксирует, что не слышал сам. Честность или алиби?» Я не был уверен, зачем написал это. Ветров нигде не лгал — в той мере, в какой я мог это проверить. Но его привычка записывать то, чего он не был свидетелем, и оговариваться, что не был, — означала что-то. Он выстраивал дистанцию между собой и тем, что происходило с ней, как будто заранее знал, что однажды эту дистанцию придётся предъявить.

17 февраля. Два слова подряд. В присутствии Параскевы Петровны. «Снег идёт». Контекст: снег шёл за окном. Возможна прямая номинация видимого. Голос тихий, без вибрато, почти монотонный. Речь флюктуирует — иногда доступна, иногда полностью отсутствует. Паттерн не суточный, не недельный. Не удаётся привязать к медикации. Не удаётся привязать к присутствию конкретного человека, хотя выборка мала.

21 февраля. Повторяющееся высказывание. М. А. в течение сорока минут произносила одну и ту же фразу с интервалом в две-три минуты: «он идёт». Контекст неясен. Снег к этому моменту не шёл. Окно было тёмным — пять часов вечера, здесь это уже ночь. Палилалия — или нечто другое. Формально: переывы-работка фразы в рамках постступорозного состояния, без интенции коммуникации. Это версия, которую я запишу в карту, и она будет правдой. Практически: я сидел в палате сорок минут и слушал, и у меня нет слов для того, что это было.

Последняя фраза этой записи не принадлежала клиницисту. Я перечитал её. «У меня нет слов для того, что это было». Так не пишут в карте. Так не пишут в рабочей тетради. Так пишут в дневнике, который решили вести потому, что рабочая тетрадь перестала вмещать. Ветров, по-видимому, завёл эту тетрадь именно для таких фраз — для остатка, не вошедшего в протокол, для того, что он знал и чему не мог найти клинического места.

27 февраля. Фонд слов расширяется: «снег», «он», «идёт», «холодно», «руки», «где». Грамматической связи между словами нет. Это перечисление, не речь. Иногда два слова рядом образуют подобие высказывания: «руки где» — но не ясно, вопрос ли это или название двух вещей, стоящих рядом в сознании: руки и отсутствие.

Пересмотрел литературу по *emerging speech* после акинетического мутизма. Описана похожая динамика в случаях ранней депривации, где восстановление речи у взрослых следует не порядку грамматики, а порядку потребности. Сначала — то, что болит. Потом — то, чего не хватает. Грамматика — последняя. Если это верно, то «руки» и «холодно» — это боль: физическое ощущение, ближайшее к телу. «Он» и «где» — это отсутствие: кто-то, кого нет. Между болью и отсутствием — весь её доступный язык.

На полях: «порядок потребности». Подчеркнул дважды.

2 марта. Первая длинная фраза. Или две фразы, произнесённые без паузы. Я присутствовал. Записал дословно: «Снег идёт он идёт здесь холодно где мои руки». Интонация ровная, без модуляции, как будто слова произносились не для кого-то, а для проверки — есть ли они ещё, работают ли. Глаза открыты, смотрит на собственные кисти, лежащие поверх одеяла. Не на меня. Не на Параскеву.

Лингвистическое наблюдение, которое обязан зафиксировать, хотя не понимаю его. В потоке слов присутствует местоимение «он». Контекстуально — может относиться к снегу («снег идёт, он идёт»). Но М. А. произнесла «он идёт» с микропаузой перед «он» и лёгким ударением, которое указывает на отдельную референцию. «Он» — не снег. Это кто-то. В анамнезе есть муж, погибший в октябре. Есть предположение о раннем детдомовском опыте. Кого именно она зовёт — не знаю. Спросить невозможно: коммуникативный контакт на этой стадии исключён.

Запись 14, 02.03.09. На полях: «Кто?» Больше ничего. Этого было достаточно.

5 марта. Подобрала со стола карандаш, который я оставил. Не писала. Держала. Двадцать минут держала карандаш в правой руке, зажав между указательным и средним, как держат дети, не умеющие писать, — не как взрослая женщина с высшим образованием. Потом положила обратно точно туда, где он лежал. Точность размещения поразительная — вернула предмет в исходную позицию с точностью до сантиметра. Координация мелкой моторики сохранна. Пространственная память сохранна. Карандаш был для неё чужим и должен был вернуться на место.

8 марта. Степанова на утреннем совещании поставила вопрос о пересмотре тактики ведения. Предложила электросудорожную терапию ввиду затяжного характера ступора. Я ответил, что состояние улучшается. Она сказала: «Борис Аркадьевич, она третий месяц в ступоре. Это не улучшение — это флюктуация». Формально Степанова права. Я не стал спорить. Написал в протоколе совещания: «решение отложено до апрельского пересмотра».

Степанова была права. Ветров, по-видимому, это знал. Его «решение отложено» — это не клиническая тактика, это выигрыш времени. Он ждал чего-то, чему ещё не было имени в его записях.

11 марта. М. А. впервые повернулась на бок самостоятельно. Повернулась лицом к стене — не к окну, не к двери. К стене. Пролежала так четыре часа. Кузнецова занервничала, подошла проверить пульс. Пульс нормальный. Дыхание ровное. М. А. не спала: глаза открыты, смотрит на стену. Я попросил Кузнецову больше не подходить без вызова.

14 марта. Утреннее наблюдение. М. А. говорила в течение шести минут. Я включил диктофон на второй минуте; первую воспроизвожу по памяти, она была короткой. Речь фрагментирована, но появляются устойчивые синтаксические единицы — двух- и трёхсловные конструкции с различным предикатом. Воспроизвожу по записи:

«Здесь холодно. Руки мои. Он знает, что здесь холодно. Я был здесь вчера. Нет. Я была здесь вчера. Кто — был. Я был. Нет».

Грамматическое примечание. В двух местах М. А. использовала глагольную форму мужского рода: «я был здесь вчера», затем — самокоррекция на «я была», затем — возврат к «я был». Это может быть аграмматизм в рамках постступорозной дезинтеграции: местоимение «я» не согласовано с полом говорящего, что описано в литературе по выходу из длительного мутизма. Однако характер самокоррекции — «нет, я была» — указывает на сохранность грамматической компетенции. Она различает формы. Она знает, что «была» формально правильнее. Она выбирает «был». Или — третья возможность, которую я записываю здесь, а не в карте, — выбирает не она.

Не формулирую этого в карте. Записываю здесь. Повторю наблюдение.

Третья возможность. Ветров записал её в конце абзаца, отделив тире, как будто она пришла ему в голову в момент письма и он не решился её ни развить, ни вычеркнуть. «Выбирает не она». Тогда — кто? Ветров этого не спрашивал. Он положил вопрос на бумагу и ушёл дальше, к следующей дате, к следующему наблюдению, как человек, который знает, что вопрос слишком рано и что ответ, если придёт, придёт не из его рассуждений.

18 марта. Речь расширяется. Словарь — около двадцати единиц. Появились глаголы: «идёт», «знает», «был», «была», «спит». Появилось «нет» как отдельное высказывание. «Нет» произносится с нажимом, иногда в ответ на обращение, иногда — без видимого стимула, в середине молчания. Предположительно — внутренний диалог, выход которого наружу она не контролирует.

22 марта. Мужская форма — снова. «Я знал это» — в контексте, который не удалось восстановить: фраза была произнесена в промежутке между двумя другими, не связанными с ней. Зафиксировал четвёртое появление мужского рода за десять дней. Частота невысока, но устойчива. Паттерн: мужская форма возникает не случайно, а в высказываниях с «я» в роли агента: «я был», «я знал». В высказываниях без «я» («здесь холодно», «снег идёт») — сдвига нет. Вывод: сдвиг связан не с грамматической деградацией в целом, а с чем-то, что происходит в позиции субъекта. Когда М. А. говорит о мире — мир остаётся грамматически нейтральным. Когда говорит о себе — «я» двоится.

25 марта. М. А. сидит в кровати. Это первый день, когда она удерживает вертикальное положение самостоятельно, без подушек. Спина прямая. Руки лежат на коленях ладонями вниз. Смотрит в окно. Снег за окном — последний, мартовский, мокрый. Она смотрела сорок минут. Потом легла. Я зашёл вечером, она спала. Кузнецова сказала: «Она сегодня сидела как живая». Я не стал объяснять Кузнецовой, почему эта фраза точнее, чем Кузнецова думает.

Ветров повторял это наблюдение ещё дважды за оставшиеся дни марта. Каждый раз — с той же осторожностью: «выбирает „был“», «возвращается к мужской форме», «самокоррекция присутствует, но не удерживается». Он менял формулировки, как будто надеялся, что при каком-нибудь повороте увидит больше. Не видел.

Последняя мартовская запись в тетради — короткая.

28 марта. Предварительная оценка через три месяца наблюдения. Кататония разрешилась частично: восковая гибкость отсутствует, произвольные движения восстановлены, начата самостоятельная еда. Речь в стадии формирования — от отдельных слов до коротких фраз. Коммуникативная интенция эпизодическая. Медикация: лоразепам снижен до 1 мг, золпидем отменён. Дифференциальный диагноз: кататоническая шизофрения, диссоциативный ступор, постреактивное состояние с выраженным регрессом. Ни один не удовлетворителен.

Грамматический сдвиг сохраняется. Не укладывается ни в одну из перечисленных нозологий. Возможно, это не симптом.

Если это не симптом, я не знаю, что это.

Я закрыл тетрадь. Потом открыл снова — на последней записи — и перечитал: «Если это не симптом, я не знаю, что это». Ветров в январе 2009-го ещё не знал, что эта фраза станет формулой, к которой он будет возвращаться шестнадцать лет. Я этого тоже не знал, но, в отличие от Ветрова, я прочёл это за одну ночь, а не прожил, и потому позволил себе подумать, что понял.

Не понял.

Тетрадь заканчивалась чистыми страницами — Ветров исписал чуть больше половины. Вторую тетрадь, в которой, по-видимому, продолжались записи апреля и далее, я ещё не искал. Она лежала где-то в той же коробке, может быть, под стопкой медицинских бланков, которую я отложил вчера вечером. Вчера вечером. Это было семь часов назад.

В архиве было холодно. Батарея под окном — чугунная, ребристая, дореволюционная на вид, хотя, вероятнее, пятидесятых годов — давала тепло неравномерно: ближайший к ней угол стола был тёплым, дальний нет. Тетрадь лежала на тёплой стороне, и мне почему-то не хотелось её перекладывать. Чай, который я принёс с собой в термосе, остыл часов пять назад. На столе, рядом с тетрадью, стояла пустая кружка, лежали три карандаша и мой блокнот, в котором за ночь набралось двенадцать пометок: даты, номера записей, вопросы. Я пересчитал их. Двенадцать вопросов, ни одного ответа.

Я встал, подошёл к окну. Стекло было покрыто изнутри тонким слоем изморози — не узорной, а ровной, матовой, какая бывает при медленном понижении температуры в помещении, когда отопление не справляется.

Снег лежал на подоконнике снаружи, ровный, нетронутый, сантиметров восемь. Внизу, за стеной, — белое поле до реки. Река не видна, только линия, где белое становилось чуть другим белым. Небо было светлым.

Я не заметил, когда рассвело.

ГЛАВА VIII

К концу октября я перенёс чтение в архив окончательно, хотя в какой именно день это произошло, сказать не могу: записи о переходе не осталось, а память на такие вещи у меня всегда была плохая, и я склонен датировать собственную жизнь задним числом — по тому, что было в те недели прочитано, а не по календарю, — так что «конец октября» означает здесь скорее слой материала, чем число. Архив занимал угловую комнату на втором этаже, через стену от кабинета: низкую, длинную, с одним окном, выходившим, как и в кабинете, на крепостную стену и се-веро-западную башню. Стеллажи Ветров ставил сам — это было видно по тому, как неровно они стояли, по разнокалиберным доскам, по верхним полкам, повешенным под самый потолок, до которого он, уже немолодой, с табурета доставал, должно быть, не вполне. На полках стояли папки: картонные, советские, с тесёмками; пластиковые скоросшиватели девяностых; коробки из-под чего-то, надписанные его рукой — годами, инициалами, иногда одним словом, понятным, по-видимому, только ему. Я открывал их по очереди, потом не по очереди, потом в порядке, который диктовал уже не я, а сам материал, тянувший от одной папки к другой по ссылке, по совпадению даты, по имени на полях.

Дела Ветров держал не в хронологии и не по алфавиту. Первые недели я искал систему и сердился, что её нет; потом понял, что она есть, но это система не каталога, а памяти — вещи лежали рядом не потому, что относились к одному году, а потому, что относились, в его голове, к одному и тому же. Отдельно стояли его собственные тетради, дневники, которые он, как я постепенно установил, вёл с две тысячи девятого. Их я читал иначе, чем истории болезни, — медленнее и с тем неудобным чувством, какое бывает, когда смотришь на человека, не знающего, что на него смотрят. Синтаксис у него был короткий, сухой, академически-нервный; цитировал он, не ставя кавычек, так что чужая фраза — чаще всего, насколько я мог опознать, из Боулби или Винникотта — всплывала посреди его собственной и так же беззвучно оседала обратно, и я не всегда был уверен, отдавал ли он себе в этом отчёт. Bowlby в первом советском переводе стоял у него тут же, на полке, зачитанный до того, что корешок держался на скотче.

Сам я читал, как читают историю болезни, — с готовой оптикой, в которую материал укладывается прежде, чем успеваешь его почувствовать. Это профессиональная привычка, и в Сербского нас учили считать её зрелостью. Контрперенос, диссоциативное, дефицит, привязанность — у меня был словарь, и пока словарь работал, я был, в той мере, в какой это вообще возможно знать о себе, в безопасности; я отмечал у себя реакции так же, как отмечал бы их у пациента, и записывал на полях рабочей тетради короткие пометки по-английски, потому что по-английски это звучало холоднее и, значит, надёжнее: avoidant, unresolved, иногда просто Winnicott, без пояснения, для себя. (В рукописи я долго не мог решить, оставлять ли эти пометки. Оставил.) Я говорю об этом подробно, потому что это важно для дальнейшего: в конце октября щит ещё держался. Я ещё считал, что читаю случай. Я ещё не замечал — а если замечал, то списывал на усталость и на свет, — что перестал, например, бегать по утрам, хотя бег был единственной устойчивой моей привычкой и я привёз его сюда, как привозят одну вещь из прежнего дома; что мерил теперь сутки не утром и вечером, а числом прочитанных папок.

Материал приходил не подряд и не целиком. История болезни в обычном смысле — выписки, заключения, протоколы — перемежалась у него тем, чему в номенклатуре нет места: листками без шапки, выписанными цитатами, ксерокопиями чужих работ с его подчёркиваниями, фотографиями, на обороте которых стояли одни инициалы. Датировки расходились: заключение, помеченное одной рукой августом, было исправлено другой на сентябрь, и кто из двоих был прав — медрегистратор, ставивший число по поступлению, или Ветров, ставивший его по чему-то своему, — я установить не мог и, по совести, перестал пытаться. Довольно скоро

я понял, хотя сформулировал это много позже, что занят не чтением, а сборкой, и что сборка эта подчиняется не той логике, по которой событие происходило, а той, по которой оно сохранилось; что я восстанавливаю не жизнь, а её осадок в бумаге, и что в осадке есть пропуски, и пропуски эти говорят, возможно, не меньше написанного, но говорят на языке, которого у меня нет. (Этот абзац я переписывал в рукописи дольше любого другого и оставил, в конце концов, в той форме, в какой не вполне ему доверяю.)

К концу октября в институте делалось очень тихо. День сокращался быстро и заметно — не метафорически, а физически: ещё в начале месяца было светло часов до пяти, к концу — едва до трёх, и остаток суток держался на лампах. Отопление гудело в трубах низко и ровно. Когда ветер заходил с моря — а заходил он с моря почти каждый вечер, — в пустой звоннице резонировал воздух, и весь корпус наполнялся низким, на грани слышимого гулом, к которому я привык настолько, что замечал его, только когда он прекращался. Бó льшая часть персонала жила за рекой, и к семи корпус пустел; оставались ночной пост, дежурная сестра этажом ниже да я. Окно к девяти становилось чёрным наглухо; за стеклом не было ничего, что отбрасывало бы свет обратно, и я видел в нём, подняв голову, только лампу, стол и себя над столом — отражение, в которое упиралась комната, дальше себя не пускавшая. Спать у себя я в какой-то момент перестал — не из решения, а потому, что подниматься было дальше, чем остаться. Архив был холодный; я работал в куртке. Лампа была настольная, с зелёным стеклом, ветровская, и круг света от неё ложился на раскрытую папку и не доставал до стен, так что комната за пределами стола существовала на слух больше, чем на глаз.

Я работал в его комнате, за его столом, в его кресле — и довольно рано решил не делать из этого ничего. Кресло было продавлено под чужую спину; первые дни я это чувствовал и пересаживался, потом перестал. Человек, чьи бумаги я разбирал, утонул в полутора километрах отсюда четырнадцать месяцев назад, и я работал в его комнате; это были два факта, и связывать их во что-то третье у меня не было ни оснований, ни, честно говоря, склонности. И всё же одна вещь меня занимала, хотя клинически не значила ничего: Ветров никогда не был женат. Об этом не было ни строчки в его дневниках, и именно отсутствие строчки я почему-то отметил — так отмечают не симптом, а его отрицательную форму, пустоту, по краю которой что-то очерчено. Что с этим делать, я не знал и, по-видимому, ничего и не следовало; я держал это в стороне, как держат в кармане предмет, назначения которого не помнишь.

Я читал до часу, до двух. Материал к тому времени распоряжался моими сутками полнее, чем я им: я ложился не когда уставал, а когда доходил до места, на котором можно остановиться, а таких мест становилось всё меньше. Восстановить порядок тех ночей я не берусь — они слились в одну долгую, с короткими светлыми промежутками. В ту ночь — я говорю «в ту ночь», понимая, что собираю её, возможно, из нескольких, но одна из них была именно такой, — я читал тетради Ветрова за его столом, в круге лампы, и не помню момента, когда перестал читать. Не было перехода, который я мог бы зафиксировать, — был текст и усилие чтения, потом текст расплылся, потом ничего не было, а потом было то, что я записываю здесь, не будучи вполне уверенным, что слово «сон» для этого годится.

Коридор. Длинный, учрежденческий, с низким потолком. Казённый светильник — один, жёлтый, в плоском плафоне того типа, который выпускали, по-видимому, одним и тем же заводом для поликлиник, детских садов и всего прочего, что государство строило для своих нужд и забывало обновлять. На полу кафель, крупный, бежево-серый, со сколами. Я стоял в дальнем конце коридора, у стены, и видел впереди, метрах в пятнадцати, двоих детей: мальчика и девочку, обоим на вид лет семь или восемь, невысоких. Они стояли друг напротив друга, и руки у них были сцеплены — не так, как берутся за руки при игре, а пальцы в пальцы, переплетённые. Рядом стоял взрослый, в белом, в чём-то рабочем, — халат или фартук, мужчина или женщина, я не различал. Взрослый тянул одного из детей за плечо, пытаясь отвести. Ребёнок подавался назад, но пальцы не разжимались. Второй не двигался. Стоял. Взрослый пере-

хватил двумя руками, потянул сильнее. Ничего не изменилось. Звuka не было — ни голоса, ни шагов по кафелю, ни скрипа; только усилие, видимое и распределённое между тремя телами, из которого ничего не следовало. Я стоял в конце коридора, как стоишь в учреждении, мимо которого проходишь, — не войдя, не имея отношения. Я не подошёл. Я не знал, кто эти дети, и то, что я не знал, было устроено не как вопрос, на который мог бы быть ответ, а как часть того, что происходило: коридор, свет, кафель, пальцы, которые не разжимаются.

Больше в этом сне ничего не было — или было, но не сохранилось, и я не в состоянии отличить одно от другого.

Проснулся я от того, что затекла рука.

Это первое, что я записываю, потому что это первое, что было: не мысль, не остаток сна, а правая рука, придавленная собственным весом к столешнице, отнявшаяся ниже локтя так, что пальцы я ощущал как чужие — налитые, тяжёлые, не вполне мои. Я просидел в этой позе, по-видимому, несколько часов. Лампа на столе горела; за окном архива стоял тот неопределённый октябрьский час, когда уже не ночь, но ещё и не день, — серое, ровное, без источника свечение, при котором предметы видны, но не отбрасывают тени. Я не сразу понял, где нахожусь. Это длилось недолго, секунду или две, но я отмечаю это, потому что в ординатуре нас учили, что дезориентация при пробуждении вне постели — банальность, рутинный артефакт сна не на месте, и я тогда так и подумал: артефакт. Я и сейчас думаю, что это был артефакт. Я просто записываю, что он был.

Снилось мне что-то — я знал, что снилось, по той остаточной плотности, какая остаётся в теле, когда сон только что был и уже ушёл, — но удержать я не мог ничего. Ни сюжета, ни лиц. Осталось одно усилие, мышечное, как после физической работы: будто я что-то держал или тянул и вот разжал. (Я пишу это в феврале двадцать седьмого и оставляю как есть; я возвращался к этой странице несколько раз и не дописал к ней ничего.) Я растёр руку, дождался, пока в неё вернётся чувствительность — сначала покалывание, потом боль, потом просто рука, — и только тогда увидел тетрадь.

Она лежала передо мной раскрытая.

Я опишу это точно, потому что точность здесь — единственное, что у меня есть. Архив Ветрова устроен так, что тетради Марты хранятся отдельно от истории болезни: шесть томов дела стоят в металлическом шкафу слева, а тетради — их сорок с лишним, разного формата, в основном школьные, в коленкорových и клеёнчатых обложках, — лежат в двух картонных коробах на нижней полке стеллажа у окна, и я их к тому вечеру ещё не трогал. Я читал дело. Тетради я отложил — сознательно, потому что не чувствовал себя готовым, и потому что не был уверен, что имею право; вопрос о том, кому принадлежат эти записи и кто санкционировал бы их прочтение посторонним, я к тому моменту себе не разрешил. Это я помню отчётливо. Чего я не помню — это как одна из тетрадей оказалась на столе, раскрытая, под лампой, у самой моей руки.

Насколько я могу судить, я достал её сам. Других людей в архиве ночью не было; дверь я запираю; короб у окна был сдвинут, одна тетрадь вынута. Самое простое объяснение — что я взял её перед тем, как заснул, и не запомнил этого, как не запоминаешь движения на грани сна. Я и держусь этого объяснения. Я привожу его здесь не потому, что оно меня убедило, а потому, что любое другое потребовало бы от меня допущений, которых я как врач делать не должен.

Тетрадь была тонкая, в светло-зелёной обложке, без надписи. Почерк — мелкий, наклонный влево, местами срывающийся в неразборчивое. Страница, на которой она была раскрыта, заполнена меньше чем наполовину; верх занят чем-то зачёркнутым, плотно, так что не прочтёшь, а ниже, отдельно, в три строки, без числа, без заголовка, без того, что предшествовало бы и объясняло:

я был здесь вчера. я была здесь вчера. кто из нас был

Я прочитал это.

Потом прочитал ещё раз.

Звонница в это время загудела — норд-вест к утру усиливался, и тяжёлый колокол на ветру отзывается сам, без языка, низким, долгим, ровным тоном, который слышен во всём корпусе и к которому за неделю перестаёшь прислушиваться. Я прислушался. Это, пожалуй, и есть всё, что во мне произошло: я перестал слышать звонницу, а тут услышал. Грамматический сдвиг — мужская форма в первой строке, женская во второй, и третья, которая не выбирает, — я отметил сразу, профессионально: так в литературе по диссоциативным состояниям описывают переключение между состояниями Я, и я мог бы написать на полях «alternation», как написал бы в любой карте, и эта запись была бы корректной и ничего бы не сказала. Я ничего не написал на полях. Я закрыл тетрадь, заметив страницу пальцем, потом открыл снова, чтобы убедиться, что прочёл верно, — я прочёл верно, — и закрыл окончательно.

Я не вздрогнул. Я нарочно фиксирую это, потому что в книгах, которые я читал, человек на этом месте вздрагивает, и потому что я понимаю задним числом, как легко было бы написать, что я вздрогнул, и как это было бы неправдой. Я сидел. Болела отошедшая рука. За окном серое стояло на той же ноте, что и звонница, не светлея. Кофе у меня в архиве не было; была вода в графине, и я выпил стакан, и вода была комнатной, чуть затхлой. Всё это я перечисляю не для обстановки. Я перечисляю это, потому что это и было — вода, рука, гудение, страница; и потому что в той мере, в какой я вообще способен честно отчитаться о том утре, отчёт состоит из этих вещей и больше ни из чего.

Что эта фраза значит, я в то утро не записал. Я не записал этого и позже. У меня было — есть — несколько способов её прочесть, и каждый из них принадлежит какой-нибудь главе учебника, и я ни одному из них не отдал предпочтения, потому что отдать предпочтение означало бы решить за неё то, чего она, по-видимому, сама о себе не решала, а только записывала. Я перечитал её утром. Это всё, что я делал с ней утром: перечитал и убрал тетрадь обратно в короб, и задвинул короб к стене, и заметил, что задвигаю его ровно на прежнее место, как будто это что-нибудь меняло.

(Спрашивали ли меня впоследствии, не показалось ли мне тогда, что фраза обращена ко мне. Не показалось. Она ни к кому не обращена. В этом, кажется, и дело.)

Около девяти, когда серое наконец сдвинулось в сторону дня и в окне проступил двор — мокрый камень, лужи с тонким ледком по краям, чёрные стены бывшей трапезной напротив, — я встал. Тело держало ночь за столом плохо: спина, шея, та же рука. Я выключил лампу. В архиве сразу стало холоднее на вид, хотя температура, разумеется, не изменилась; просто без жёлтого круга света сделалось видно, что помещение нежилое, что я провёл ночь там, где спать не предполагается, и что это уже второй или третий раз за две недели, и что я перестал считать. Я отметил и это — без вывода. Выводы я в то утро делать не стал. Я только понял, насколько отчётливо — стоя у окна, с затёкшей рукой, перед задвинутым к стене коробом, — что не уеду; понял это не как чувство и не как решение, а как факт, уже бывший к тому часу, по-видимому, давно, и просто дождавшийся, чтобы я на него наткнулся.

В тот же день я зашёл в канцелярию.

То утро было как другие утра конца октября — то есть начиналось в темноте и долго не желало становиться днём; свет за окном служебной квартиры пробовал себя медленно, серо, как пробуют ногой лёд, и к восьми держался на той ступени, выше которой на этой широте в это время года уже не поднимался. Я встал, оделся, выпил воды, и единственное, что отличало это утро от прочих, лежало у меня на столе и было прочитано мной ещё затемно; об этом я написал отдельно и не стану повторять. Я отвёл от стола глаза, и они упали на договор, который я держал в той же папке, и я сообразил вдруг, что у срока есть дата, а до даты остаётся два месяца.

Контракт, который я подписал в Москве, был заключён на срок — до тридцать первого декабря, с пунктом о продлении «по соглашению сторон», который я при подписании прочёл

невнимательно, как читают типовое. Я мог дать ему истечь. Это был самый простой из возможных исходов, и в пользу него говорило всё, что человек обыкновенно называет здравым смыслом: жильё, в которое я не успел врать; дорога, которая закрывается на полгода с первым снегом и которую я однажды уже видел распутицей; должность, в которой не было ничего, что нельзя было бы передать преемнику в течение недели; и климат, к которому, как я тогда думал, не привыкает никто из приезжих, а я был приезжий. Я не дал ему истечь.

Бланк я заполнил за тем же столом. Он состоял из двух страниц, и страниц этих было ровно столько, сколько требуется, чтобы заполняющий не успел подумать ни о чём сверх граф: фамилия, должность, номер прежнего договора, испрашиваемый срок, основание. В графе «основание» я написал «производственная необходимость» — формулу, которую вписывают, когда настоящего основания либо нет, либо его не предъявляют. Если бы меня спросили — а меня, как выяснилось, никто не спросил, — я мог бы привести причины, и они были бы настоящими: незаконченное дело М. А., которое не передать в середине без потери того немногого, что в нём держалось на одном лице; вакансии, три на отделение, которые администрация закрывала второй год; отсутствие сменщика, готового ехать на Белое море на зиму. Всё это было правдой, и ничто из этого не было причиной, и причины у меня не было, и я её не искал. (Из всех бумаг той осени эту я и теперь могу предъявить с чистой совестью: она удостоверяет поступок и молчит о побуждении, а удостоверить побуждение я не взялся бы ни тогда, ни сейчас.) Я вложил бланк в папку и пошёл к Стрельникову.

Дорога от служебного корпуса до административного шла через двор, мимо хозяйственных построек, и я прошёл её, как проходил всякий раз: по протоптанному, держась той линии, которую за полтора месяца до меня протоптали другие. Со стороны котельной слышался мерный стук — кто-то колот дрова, готовясь к зиме, — и этот стук стоял над двором с утра, ровный, безразличный, ни к чему не отсылающий. В дверях главного корпуса мне встретилась санитарка с ведром, посторонилась, я кивнул, она кивнула; имени её я тогда ещё не знал. В коридорах пахло хлоркой и остывшей побелкой. Лестница на второй этаж была узкая, с каменными ступенями, стёртыми посередине, и с теми же синими крашеными перилами, что и везде в этих стенах, где краску, по-видимому, завезли однажды в большом количестве и с тех пор красили ею всё подряд. Кабинет Стрельникова я к концу октября знал уже не как место, куда меня ведут, а как место, куда я хожу. Три стопки папок на столе стояли с прежней геометрической точностью, и я успел подумать — мельком, не задерживаясь, — что человек, который держит бумаги в таком порядке, едва ли способен удивляться ещё одной бумаге.

Он поднялся, пожал руку, предложил сесть. Я положил бланк перед ним и сказал, что прошу о годовом продлении.

Он надел очки, прочёл, снял очки. Спросил, заполнял ли я вторую страницу. Я ответил, что заполнил. Он перевернул, проверил вторую страницу, кивнул. Сказал, что это упрощает штатное расписание на будущий год — одной строкой меньше в графе вакантного. Сказал, что продление пройдёт тем же окладом, без надбавок, потому что надбавки в этом году урезаны на четырнадцать процентов, как и всё прочее, и спросил, устраивает ли меня это. Я ответил, что устраивает. Тогда он сказал, что зимой здесь трудно с людьми — не с пациентами, с персоналом: дорогу заносит, врачи из города не задерживаются, а те, кто остаётся, остаются надолго, и в этом смысле моё заявление он находит разумным. Сказал, что с поставками медикаментов зимой бывают перебои, что заявки на первый квартал лучше подать до ледостава на тракте, и что дежурства на январь он распишет с учётом того, что я остаюсь, — это снимет одну из дыр в графике. Всё это он излагал так, будто продление было не моим решением, о котором ещё час назад он не знал, а пунктом расписания, который теперь можно закрыть. Сказал ещё, что копий потребуется две — одна в личное дело, одна в бухгалтерию, — и что вторую канцелярия снимет сама. Он говорил ровно, негромко, тщательно подбирая слова, с той обстоятельностью, которая исключает необходимость возвращаться к сказанному, и в этой обстоятельности не

было ничего, что относилось бы ко мне лично; так он, по-видимому, говорил со всеми и обо всём, что подписывал в этом кабинете двадцать лет.

Он подписал. Поставил дату, расписался, придвинул бланк обратно через стол тем же движением, каким придвигал, должно быть, всё. Он не спросил, почему я остаюсь. Он не сказал, что рад. Он не сказал ничего, что я мог бы потом перечитывать. Он сказал: «Снесите в канцелярию, пусть зарегистрируют. Входящий им нужен сегодня — у них отчётность за месяц». И снова надел очки, и придвинул к себе верхнюю папку из левой стопки.

Имени Ветрова он не произнёс. Я отметил это уже на лестнице — отметил и не стал додумывать, потому что он не произносил его при мне ни разу с первого дня, и было бы странно искать смысл в постоянстве.

Канцелярия помещалась в том же корпусе, этажом ниже, в комнате, окно которой выходило на глухую стену котельной, так что свет в ней и в полдень был такой, при каком зажигают лампы. Женщина за столом приняла бланк, не поднимая на меня глаз дольше, чем требовалось, чтобы убедиться, что подпись и.о. на месте. Она раскрыла журнал входящих — толстую конторскую книгу с разлинованными от руки графами — и провела пальцем сверху вниз до первой пустой строки. Вписала: дата, от кого, краткое содержание, номер. Спросила мой табельный, я не помнил, она нашла его сама по фамилии в другой книге, толще первой. Я смотрел, как заполняются графы, и графы эти были те же самые, по которым я в первую неделю расписал тридцать четыре формуляра в общем отделении, и те же, по которым неделей раньше регистрировал здесь акт списания и заявку на дрова: имя, дата, существо дела, подпись, номер. Аппарат работал, и теперь он обрабатывал меня. Она поставила штамп. Штамп лёг криво; она прижала его второй раз поверх первого, и оттиск стал плотнее и читался хуже. Оторвала корешок, подала: «Ваш экземпляр». Сказала, что приказ выйдет в течение недели и копию пришлют на отделение. Это была процедура, и она ничем не отличалась от любой другой, и я вышел из канцелярии с корешком в кармане халата так же, как выходил тогда.

В коридоре второго этажа, у окна в дальнем конце — том, что выходит на стену и башню, — стояла Параскева Петровна. Я не знаю, зачем она была там; её отделение в Поморском, в административном корпусе ей делать нечего. Должно быть, шла откуда-то и остановилась у окна, как останавливаются у окна. Она стояла против света, и лица её я не разбирал. Она видела, как я вышел из кабинета: выходить можно было только в её сторону, другого хода с этажа нет.

В прошлый раз, когда она увидела меня там, где, по её счёту, мне не следовало стоять, она заговорила первой, и я помню сказанное дословно. Я поймал себя на том, что жду её слов и теперь. Она не сказала ничего. Посмотрела, как я иду по коридору, и, когда я поравнялся, повернулась обратно к окну. Я прошёл к лестнице. Шагов её за спиной я не услышал. Значит, осталась у окна.

Вот и всё, что было. Я держу себя за этим столом, в феврале двадцать восьмого, и слежу, чтобы не дописать к этому того, чего там не было. Не было ничего, что я мог бы прочесть. Не было слов, оставленных при себе. Была старшая медсестра у окна в нерабочем для неё крыле, и врач с корешком в кармане, и расстояние коридора между ними, которое каждый прошёл по своей надобности.

Без интерпретации. Без слова «жутко». Без слова «знак». Только: я перечитал её утром и подал документы на продление.

Корешок я в тот вечер не выбросил. Он и сейчас здесь.

ЧАСТЬ II ТЕТРАДИ

ГЛАВА IX

К ноябрю день и чтение перестали помещаться в один и тот же свет. Клиническая часть — обход, две сессии в неделю, бумаги, которые я подписывал за Стрельникова, пока он сидел в Архангельске на согласованиях, — приходилась на те немногие часы, в которые ещё можно было различить лицо в палате, не включая верхнего; на коробки не оставалось ничего. Я перенёс чтение на вечер. Это не было решением в том смысле, в каком решением называют выбор между возможностями: возможностей не было, был расчёт времени, и расчёт сводился к тому, что после двух пополудни в архиве всё равно горела лампа, а раз она горела, безразлично было, читать при ней дело или сидеть при ней без дела.

Свет уходил быстрее, чем я ожидал, и не так, как уходит южный свет. На юге сумерки — это процесс, у него есть длительность, в которую успеваешь что-то закончить; здесь длительности почти не было. Я начал, по профессиональной привычке отмечать, записывать времена — восхода и захода, — и из записей видно, что в первых числах ноября солнце вставало около половины девятого и садилось в начале четвёртого, а к двадцатому вставало в десятом часу и не поднималось над южным участком стены больше чем на ширину ладони, вытянутой на длину руки. Я проверял ладонью; это древний способ, и он давал примерно пять градусов. Пять градусов — это весь подъём. Дальше солнце шло не вверх, а вдоль, низко, над лесом за рекой, и к двум часам света уже не хватало, чтобы читать у окна без лампы, а к концу месяца не хватало и к половине второго.

Окно архива выходит на юго-запад, и это означало, что один раз в сутки, незадолго до того, как солнце уйдёт за лес, в комнату ложилась полоса прямого света — на пол, наискось, через изморозь на нижнем переплёте, отчего край полосы был не резкий, а размытый, как у пятна, проступившего сквозь бумагу. Полоса доходила почти до стеллажа 054. Я отметил это в первый же вечер, потому что она легла на коробки, и отметил во второй, потому что она не дошла до коробок на ширину книги, и тогда понял, что могу мерить ноябрь по ней. Каждый день полоса была короче и бледнее предыдущей и приходила раньше; около двадцать пятого она перестала доставать до нижней полки вовсе, легла на пол серым, без тепла и почти без цвета, продержалась минуту-две и ушла. После этого в комнате не оставалось разницы между двумя часами и пятью, кроме той, что я мог установить по часам.

(Я записываю это в феврале двадцать восьмого, при другом свете и в другой комнате, и не могу вспомнить, в какой именно день перестал отмечать время захода. Записи обрываются числа около двадцать восьмого. По-видимому, отмечать стало нечего.)

То, что наступало вместо дня, не было темнотой в том смысле, в каком темнота — это отсутствие. Часа три-четыре в середине суток держался свет, для которого у меня нет точного слова: не сумерки, потому что сумерки переходят во что-то, а этот ни во что не переходил — стоял. Снег к тому времени лёг и не сходил, и он отдавал тот небольшой свет, что оставался в небе, обратно вверх, так что нижняя половина мира была чуть светлее верхней, и предметы во дворе — стена, башни, край трапезного корпуса — читались как силуэты не потому, что за ними было светло, а потому, что под ними был снег. В архиве, на третьем этаже, окно к полудню делалось синим, к двум — серо-чёрным, а после — просто чёрным, и в нём, если не гасить лампу, отражались лампа и стол, и я научился не смотреть туда, не из суеверия, а потому, что отражение мешало различать, есть ли ещё снаружи свет; проще было встать и приложить

ладонь к стеклу с внутренней стороны, где намёрзло, и по тому, тает ли под рукой, понимать, сколько прошло.

Радиатор к ноябрю давал ещё меньше, чем в сентябре. Труба, тянувшаяся в толще стены от Поморского, по-видимому, промерзала уже в нижней части, потому что верх радиатора был чуть тёплым, а низ — холодным, как кладка. Я мерил температуру термометром, который принёс из ординаторской: три-четыре градуса вечером, к ночи — около двух. Я работал в куртке, в перчатках с обрезанными пальцами, которые отдала мне Маша, не спросив зачем, и при чтении выдох ложился на страницу паром и оседал, так что нижние листы в коробке, у самого дна, были чуть волнистыми от давней сырости, а верхние я сам понемногу отсыревал дыханием. Лампа грела ладони, если держать их над ней, но не комнату. Я брал коробку на стол, читал том, ставил обратно, брал следующий — и порядок этот я держал не по дням, потому что дни кончились, а по нумерации на крышках, нанесённой рукой Ветрова.

К концу ноября «вечер» перестал что-либо обозначать. Я приходил в башню, когда заканчивал клиническую часть, — а заканчивал я её теперь по часам, не по свету, — и уходил, когда уставал держать страницу или когда переставал понимать прочитанное, и оба эти срока сдвигались, потому что мерить их было нечем. Однажды я вышел из архива, спустился по винтовой лестнице, задевая плечом стену на третьем повороте, прошёл двором мимо палаты Марты, где свет шёл из-под двери ровной полосой, лёг и проснулся с ясным ощущением раннего вечера, и часы показывали без четверти семь, и я некоторое время не мог установить — утра или вечера, и установил только по тому, что батарея в квартире была горячей, а её топили к ночи.

Это не было тягостно. Я пишу это отдельно, потому что от описаний полярной ночи ждут тягости, а у меня её в записях того месяца нет. Было неудобно телу и было меньше сведений, чем тело привыкло получать, — глаз почти весь день не имел работы, и от этого, по-видимому, и шла та особая вечерняя тяжесть в голове, которую я первое время принимал за усталость от чтения, а потом отнёс к свету, точнее, к его отсутствию, и перестал ей удивляться. Я завёл лампу поярче. Я читал. Коробок было шесть, и я уже понимал, что не пройду их за зиму, но зима только начиналась, и в этом — в том, что её было ещё очень много, — заключалось единственное, что в ноябре можно было назвать определённым.

Первую сессию я назначил на четырнадцатое ноября, на два часа дня, и уже в этом была ошибка расписания, потому что к двум свет в библиотеке Поморского корпуса в ноябре практически кончается и приходится зажигать лампу; но я назначил на два, потому что не хотел вести её в кабинет, а кабинет — единственное место, где сессия выглядела бы сессией. Перевести её туда значило бы устроить процедуру. Я пошёл к ней.

Протокол я вёл сам, от руки, чего в институте давно никто не делал — сёстры заносили обходы в общую программу, врачи до меня обходились эпикризом раз в полгода. Отчасти это была привычка, оставшаяся от ординатуры; отчасти — то, что я в тот ноябрь ещё не назвал бы данью, но что было данью Ветрову, чьи тетради я к тому времени уже читал по вечерам и чей почерк, ровный и нервный одновременно, стоял у меня перед глазами, когда я открывал свою тетрадь. Я завёл отдельную, в клеёночной обложке, и надписал на ней одну букву и точку, как он. К этой первой сессии я готовился так, как готовятся к первичному осмотру: повторил анамнез, составил порядок вопросов, держал в голове схему оценки психического статуса — контакт, ориентировка, аффект, темп речи, формальные расстройства мышления. Я нёс с собой весь аппарат, какой у меня был, и в той мере, в какой это вообще возможно знать заранее, не сомневался, что аппарат к чему-нибудь да приложится. К чему именно — выяснилось через двадцать минут.

Она сидела у восточного окна, как и в первый раз, с томом Костомарова на коленях. Лампа на её столе горела с утра, потому что утром тоже было темно. Окно за её плечом было сначала серым, к половине третьего — чёрным, и в нём отражалась комната: я, стеллажи, её затылок. Я придвинул стул и сел напротив, не вплотную — на том расстоянии, на каком садятся

к человеку, которого пришли осмотреть, а не навестить; и это расстояние, по-видимому, было первым, что я сообщил ей в тот день, прежде всяких слов.

Я открыл протокол и спросил то, с чего начинают: как спит, как с аппетитом, как прошла неделя. Она не подняла глаз и не ответила. Я подождал и переспросил короче, разбив на отдельные вопросы, на которые можно ответить одним словом или кивком. Результат был тот же — то есть никакого. Аффект ровный: ни тревоги, ни демонстративного отказа, ни той настороженности, которую я был готов вычитать и за которой не стояло бы ничего, кроме моей готовности её вычитать. Ориентирована, это было видно и без вопросов. Темп — нулевой; формальных расстройств мышления оценить не на чем, потому что нет речи. Я записал: контакт формальный. Графа за графой схема оставалась незаполненной не оттого, что в ней нечего было отметить, а оттого, что отмечать в ней оказалось нечем — разница, которую в ноябре я ещё считал временной.

Потом я решил ждать. Не как приём — выждать, чтобы вынудить речь, — а потому что делать было больше нечего: третий заход означал бы, что я заполняю собой тишину, а заполнять её мне было нечем. Двадцать минут молчания — клинически это очень долго; на сессии это половина всего, что у тебя есть, и обыкновенно врач этого времени себе не позволяет. Я позволил. Первым делом я, как учили, следил за собой, искал раннее движение контрпереноса, какой-нибудь его признак, и не нашёл ничего, кроме холодных рук и обыкновенного желания, чтобы это уже кончилось. Я считал собственные мысли и находил их пустыми и служебными: что лампа греет лоб; что в коридоре капает с потолка, как капало в этом корпусе всю зиму; что у меня под рукой целая тетрадь и нечего в неё внести. Она читала или держала книгу раскрытой и не читала — со стороны это одно и то же. Один раз перевернула страницу. Ни Bowlby, ни Винникотт, ничто из того, чему меня учили и что я считал своим инструментом, не имело графы для человека, которому пока просто нечего тебе сказать.

Протокол, который я вёл в тот день, держит ровно то, что в нём могло удержаться:

Сессия 1. 14.11.2025. Поморский корп., библиотека, вост. окно. 14:08 — начало. Пациентка на месте, том на коленях. Контакт формальный, взгляда не поднимает. Сон, аппетит, режим — без ответа. Спонтанной речи нет. Аффект ровный, тревоги нет. 14:08— 14:28 — молчание. Заполнения не предлагал. 14:28 — спонтанно, не глядя: «Вы прочли, как меня привезли. Это там не так». Уточнений не дала, на повторный вопрос не ответила. 14:31 — сессия завершена пациенткой. Продуктивного контакта не установлено.

Она сказала это ровно, без нажима на «это», без той паузы, которой требует фраза, готовящая к признанию: так сообщают сведения, а не открываются. Я не подался вперёд, не сделал того принимающего движения, которое врач делает в ответ на первые слова молчавшего, — я просто записал, и записал слова прежде, чем услышал их целиком; это, возможно, единственное, что я в тот день сделал верно.

Я прочёл, как её привезли. В деле это занимало несколько строк анамнеза: найдена в болотах под Ку-лоем спустя неделю, в кататонии, на восьмом месяце, доставлена в институт двадцать восьмого декабря две тысячи восьмого года. В сентябре я читал эти строки как клинический случай, и защита, о которой пишут в учебниках применительно к начинающим, держалась без труда — мне было что между собой и этими строками поставить. Что именно в них было не так, она не сказала. Я не спросил. Не спросил не из такта и не из расчёта выждать удобную минуту, а потому что вопрос не дал бы ответа: она уже закончила, и у меня в тот ноябрь не было ничего, ради чего ей стоило бы отвечать именно мне. Я был человек, занявший кабинет Бориса Аркадьевича. Этого хватило на одну фразу и не хватало на вторую.

(Перечитываю эту запись из две тысячи двадцать седьмого и не могу её ни дополнить, ни исправить.)

Запись была верна. «Продуктивного контакта не установлено» — это правда, и она остаётся правдой; мне нечего ей противопоставить, кроме того, что графа, в которую я это внёс, не предусматривала случая, когда контакт не устанавливается не потому, что пациент закрыт, а потому, что ему пока нечего вам сообщить. Разница невелика и в протокол не вмещается.

Она опустила глаза туда, где они и были, — то есть вернулась к странице. Я закрыл тетрадь, поднялся и сказал, что приду в среду. Ответа не последовало, да я его и не ждал: среда была моя, не её. В коридоре я постоял, как стоял после первого раза, но недолго. Капало. Лампа из библиотеки светила в чёрное окно. Стоять было не от чего.

ГЛАВА X

К дневникам я вернулся через четыре дня после первой сессии — не раньше, потому что после двадцати минут молчания в библиотеке Поморского мне понадобилось время, чтобы перестать это молчание слышать. Тетрадь, шедшая за той, с которой я начал, лежала там, где я предположил накануне вечером: в той же коробке, под стопкой медицинских бланков, которую я отложил. Совпадение предположения с фактом я отметил отдельно — за две недели в архиве я научился своим предположениям не доверять. Обложка та же, серая, без надписи; почерк тот же, мелкий, с наклоном влево, только нажим как будто ровнее, чем прежде, словно за три месяца рука перестала торопиться. Первая запись датирована не была — начало апреля две тысячи девятого я установил по второй, где число стояло, и дальше восстанавливал порядок по содержанию, по дозам, по тому, какое за окном стояло время года; в двух местах, по-видимому, ошибся, одну запись, сверяя уже в Москве, передвинул на месяц назад. Он писал для себя. Латынь ставил там, где русское слово показалось бы ему слишком готовым; термины, которые сам же употреблял, нередко брал в кавычки, как чужие. Пациентку называл «М.» или «М. А.». Случай у него пока был — случай.

М. А. третий день не отвечает. После двух недель, в которые речь нарастала, — возврат к молчанию. Это не рецидив кататонии в полном объёме: восковой гибкости нет, произвольные движения сохранены, ест сама. Ушла речь. Осталась моторика. Состояние флюктуирует, и закономерности в том, когда оно флюктуирует, я пока не нахожу.

7 апреля. Регресс глубже. Сидела четыре часа в одной позе, глядя в окно, на восток. Я сел рядом, как в январе. Через час перевела взгляд на свои руки — то же перебирающее движение пальцами, что я отмечал зимой, — и снова в окно. Параскева приносила обед, забрала нетронутым; потом кормила сама, с ложки, и М. А. ела. Делает это без записи в карте и без указания — я не давал. Спросил, почему она сидит с этой пациенткой дольше, чем с другими. «Так надо, Борис Аркадьевич». Объяснения не дала. Я не настаивал.

11 апреля. С тех пор как в марте я по рассеянности оставил на тумбе карандаш и она его подобрала, у неё на полях старых бланков, на оборотах, на чём придётся, появляются строки. Сегодня принёс тетрадь — чтобы написанному было куда деваться. Объяснять не стал, положил в пределах досягаемости и вышел. Гипотеза: если речь восстанавливается порядком потребности, а не порядком грамматики, письмо может оказаться доступнее устной речи — оно не требует слушателя, темп задаёт сама пишущая. Этически: тетрадь не входит в историю болезни. То, что М. А. в неё напишет, принадлежит ей. Я предполагаю, что буду это читать. Записываю это предположение здесь, чтобы впоследствии не делать вид, будто его не было.

14 апреля. Тетрадь раскрыта. Одна строка. Не привожу — это её тетрадь. Но факт датирую: первое, что она написала намеренно, за тетрадным столом, а не на обороте бланка.

(Тетрадь, о которой он здесь пишет, я держал в руках в первую неделю — ту самую, с фрагментом, который мне приснился прежде, чем я её открыл. Какая это тетрадь, я понял только теперь, в апрельской записи человека, который её Марте дал. Между его «не привожу» и моим чтением — пятнадцать лет и шесть коробок. Возможно, единственное, чем я от него отличаюсь, — что я привёл.)

Перечитывал ночью старое, в дурном самиздат-ском переводе, и набрёл на две мысли, которые держу давно. Первая: что ребёнка-одного — нет; есть всегда ребёнок и тот, кто его держит, и порознь их даже помыслить нельзя — врозь они просто не существуют. Вторая, рядом: дитя, прошедшее крик и отчаяние, приходит к третьему — к виду покоя, в котором

будто более не нуждается в том, кого утратило; и это не выздоровление, а самая глубокая из утрат, та, что перестала болеть. Не знаю, зачем выписал их сюда. М. А. покойна не была. М. А. где-то между вторым и третьим, и я не умею назвать, где именно, а назвать хочется — что само по себе должно меня насторожить, но пока не настораживает.

Май, числа не записал. Речь восстанавливается устойчивее, чем в марте. Фразы длиннее, связи между ними по-прежнему нет — перечисление, не повествование. Грамматический сдвиг в мужской род повторился сегодня дважды. Записал дословно: «я не спал», «мне холодно было там». В обоих случаях — о себе, в мужском роде, без колебания и без самокоррекции, которую я отмечал в марте. В марте она поправлялась: выбирала «была», возвращалась к мужской форме, исправляла. В мае не исправляет. Самокоррекция исчезла раньше симптома. У М. А. язык приходит прежде, чем она им владеет: покуда не она говорит языком, а язык — ею.

Июнь. Пытаюсь установить условие, при котором появляется мужская форма, методически. Проверил и отбросил: время суток — связи нет; присутствие персонала или его отсутствие — связи нет; содержание сказанного — связи нет; муж из анамнеза — отсутствует, мужа она не назвала ни разу, ни в женской форме, ни в какой. Остаётся возможность, что условия нет: что форма не вызывается ничем извне, а есть свойство самого говорящего «я» — «я», которое в себе иногда мужского рода. Это формулировка, которую я не могу проверить и потому не имею права внести в карту. Вношу сюда. На полях: «не симптом и не выбор — третье». Что такое третье, не дописал.

Июль. Веду счёт дням. Из тридцати в июне — одиннадцать дней речь, девятнадцать молчание или почти. Сдвиг к речи есть, но он не линейен: за тремя речевыми днями подряд может идти неделя молчания без видимого повода, а потом речь так же беспричинно возвращается. Молчащие дни я перестал называть регрессом. Регресс предполагает откат к худшему, а здесь не откат, а отлив: в отлив она не хуже — она просто не здесь словами. Двигается, ест, перелистывает, смотрит на восток. Лечения, которое сдвигало бы прилив к норме, у меня нет: лоразепам держит ночь, не день. Фиксирую ритм и в него не вмешиваюсь, потому что не вижу, во что вмешиваться. На полях: «работать в её часах, не в своих». Подчеркнул.

Конец июля. Сёстры её сторонятся; одна сказала «жуткая». Записываю сестрину реплику, не свою: мне М. А. не жутка, мне она непрочитанна, а это вещи разные, и путать их — начало дурной медицины. Параскева в молчащие дни садится к ней, чтобы я не просил. Сегодня застал их так: М. А. у окна, Параскева рядом на стуле, обе молчат, у Параскевы в руках вязание. Спросил, говорит ли с ней М. А., когда меня нет. «Со мной — нет. При мне — да». Попросил уточнить. Не уточнила: «Вы, Борис Аркадьевич, записываете. Я сижу». В этом разделении — вы записываете, я сижу — больше точности, чем во всей моей карте за полгода. Я не нашёл, что записать о пациентке, и записал сам разговор.

Конец августа. В её тетради повторяется имя. Самой записи не привожу. Фиксирую факт: имя короткое, домашнее, и оно не совпадает ни с одним именем из анамнеза — не имя мужа, не имя отца, насколько отец вообще установлен. Кого она зовёт, не знаю. Вслух это имя не прозвучало ни разу. Она его пишет и не произносит. Спросить нельзя: прямой вопрос о людях возвращает её в молчание на сутки, проверял дважды и больше не проверяю.

Сентябрь. Речевой день. М. А. перечисляла — окно, снег ещё нет, холодно, руки, — ряд обычный, и вдруг остановилась, посмотрела на меня прямо, чего почти не делает, и сказала: «Вы каждый день». Не вопрос — утверждение. Я подтвердил. Она кивнула, вернулась к окну

и к перечислению, словно сверила пункт и закрыла. В карту внесу: «зафиксирован адресный контакт, неустойчивый». Чего не внесу: проверяла она не меня. Меня в этой проверке могло не быть. Проверялось, что кто-то — каждый день.

Октябрь. Приношу ей книги, что попадётся в институтской библиотеке, кладу на тумбу стопкой, забираю через неделю. Из последней стопки взяла не беллетристику, а альбом — репродукции, северные иконы, каталог какой-то старой выставки. Перелистывала медленно, дольше задерживаясь на изображениях, чем на тексте. Отметил это и не стал интерпретировать. В анамнезе об образовании сказано глухо. Возможно, оно у неё есть.

Октябрь, позднее. Оланзапин, назначенный Степановой, я снизил летом, затем отменил. На фоне отмены ухудшения не было — что подтверждает: ка-татонический компонент отвечал на лоразепам, а не на нейролептик. Лоразепам 1 мг на ночь оставляю. Диагноз в карте — «постреактивное состояние с дис-социативным компонентом». Это компромисс между тремя нозологиями, из которых не подходит ни одна. Степановой компромисс не нравится; она прислала записку, что случай следует пересмотреть комиссией. Мне он тоже не нравится. Но он по крайней мере не врёт больше, чем необходимо. Комиссию отложил.

Февраль две тысячи десятого. М. А. функциональна большую часть дней. Читает. Отвечает на прямые вопросы коротко и по существу, дежурному психиатру — односложно, мне — чуть длиннее. Регрессы стали реже и короче, последний был в январе и прошёл за два дня. Если бы не одно, я закрыл бы случай как медленную, но обычную ремиссию и передал бы амбулаторному наблюдению. Одно — это форма. Мужской род не ушёл вместе с симптомами, к которым я его относил. Он остался, когда ушло остальное. И чем функциональнее М. А., тем точнее этот сдвиг ложится: год назад он был хаотичен, теперь появляется не везде, где грамматически возможен, а избирательно — в одних высказываниях есть, в соседних, ничем не отличающихся, нет. Избирательность предполагает выбор. Выбор предполагает того, кто выбирает. Я записал эти три фразы подряд и оставил их стоять, потому что не вижу, где в них ошибка, и не хочу, чтобы её не было. На полях: «выбирает не она».

Март. Сегодня я просидел в палате сорок минут вместо двадцати. В карте не отмечу — отмечать нечего, говорила она не больше обычного. Отмечаю здесь, потому что заметил за собой: я жду её фраз. Не как клиницист ждёт симптома. Иначе. Как именно — пока не формулирую.

Если это не симптом, я не знаю, что это.

Дальше шло лето две тысячи десятого, ещё несколько записей тем же ровным почерком, и я прочёл их все, но остановился на мартовской и перечитал её дважды. В архиве было холодно — батарея грела по-прежнему неровно, и тетрадь лежала на тёплой стороне стола, и карандаш, которым я делал пометки, лежал там же, где вчера.

Карандаш лежал на тёплом углу стола, там, куда я его положил, поставив в блокноте двенадцатую помету, и какое-то время — сколько, не знаю; часов у меня в архиве не было — я смотрел на него, не протягивая руки. Блокнот был мой. В него я всю ночь заносил то, что заносят, читая чужую рабочую тетрадь: номер записи, дату, короткий вопрос на собственном поле, обращённый к человеку, которого не было в живых и который ответить не мог, но к которому я всё равно обращался, потому что чтение истории болезни так и устроено — ты спрашиваешь того, кто вёл карту, тот молчит, и это молчание ты заносишь себе как недостающее звено. Двенадцать вопросов. Все, если перечитать их теперь, к нему: зачем он отметил, что первого слова не слышал сам; зачем выстраивал дистанцию там, где её можно было не выстраивать; что он

имел в виду, приписав — не в карте, а здесь, у себя, — «выбирает не она». Вопросы аналитика к аналитику. Я держал его на том же расстоянии, на каком он, по собственным записям, держал её, и расстоянием этим был, по-видимому, доволен.

Потом я взял карандаш и сделал то, чего прежде не делал и чего, строго говоря, делать не полагается: открыл его тетрадь — не свой блокнот, его тетрадь — на последней мартовской записи, той, где он, подведя итог году наблюдения, приписал ниже, отступив, как отступают, когда фраза не помещается в предыдущую: «Если это не симптом, я не знаю, что это». Поле слева было широким — он оставлял широкие поля, я думаю, нарочно, для того же, для чего завёл отдельную тетрадь. На этом поле, рядом с его строкой, я написал, мелко, карандашом:

Б. А. ещё ничего не понимает, и я тоже.

И отнял руку.

Я мог бы написать это и страницей раньше — у февральского грамматического примечания, там, где он впервые отметил, что она различает формы и всё-таки выбирает мужскую, и где сам, не в карте, допустил третью возможность: выбирает не она. По смыслу там моё «и я тоже» стояло бы уместнее. Но я написал у последней строки, у той, что без продолжения, — потому что отвечал, кажется, не наблюдению, а признанию: он там впервые сказал, что не знает, и я отвечал именно на это, а не на грамматику.

Я не подбирал этих слов; они стояли уже готовыми, и единственное, что я с ними сделал, — позволил им лечь на бумагу. Я пишу это в двадцать седьмом году и могу сказать о той строке только одно: в ней не было ни иронии, ни той отрепетированной скромности, которую молодой врач предъявляет старшему, чтобы показать, что знает свои пределы и потому, в сущности, их уже перерос. «И я тоже» не значило: смотрите, как я честен. Оно значило ровно то, что было написано. Два человека, разделённые шестнадцатью годами, сидели — он тогда, я теперь — над одной и той же грамматической формой, которая не была ни оговоркой, ни симптомом из перечня, и ни у него, ни у меня для неё не было имени. Честность этой записи была не нравственной, а служебной: так в карте отмечают, что симптом не поддаётся классификации, — без сожаления и без позы, потому что отметить незнание точнее, чем выдать за знание удобную неточность.

У меня было перед ним одно преимущество, и оно казалось мне немалым: я прочёл за ночь то, что он прожил годами. Сжатие должно было, по всякой разумной логике, дать мне обзор, какого у него в первую весну быть ещё не могло; я видел впереди годы, которых он не видел, я знал, чем это кончится, а он не знал. Преимущество оказалось пустым. Скорость ничего не открывает там, где открывать нечем; я проехал по его годам за восемь часов и приехал ровно туда, где он стоял в первую весну, — к строке, у которой нет продолжения, потому что продолжения у неё не было.

Очевидное слово напрашивалось, и я его обдумал. Контрперенос: врач, не сумевший передать пациентку, удержавший её при себе, ведущий записи, которые карта не вмещает, — учебный случай; Ветров, доживи он до моего чтения, первым посмеялся бы над тем, как точно он в этот случай укладывается. Я отложил слово не потому, что оно было неверным, а потому, что оно объясняло не то. Оно называло то, что происходило с ним. А происходило — с её речью: «он» там, где по смыслу шёл снег; «был» вместо «была»; самокоррекция, которая знает правило, проговаривает его вслух — «нет, я была» — и всё равно возвращается к «был». Контрперенос — про доктора. Случай был про грамматику, про один слог, в котором держалось не отклонение, а кто-то. И к этому слово не подходило ни одно.

Дольше всего я просидел, по-видимому, над тем, что написал в его тетради, а не в своей. Это был мелкий проступок: на полях чужого документа — тем более документа человека, который уже ничего не мог ни подтвердить, ни запретить, — не пишут; так нас учили, и так

оно и есть. Карандаш я взял, кажется, именно потому, что карандаш стирается: я оставлял себе возможность взять написанное назад. Я её не взял. Позже, разбирая другие его тетради, я не раз находил его собственные пометы, сделанные точно так же — карандашом, мелко, на полях, — и ни одной стёртой; он тоже, по-видимому, оставлял себе выход и тоже им не пользовался. Не знаю, замечал ли он за собой это. Я за собой заметил только теперь, когда пишу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.